Танцующий Аист



Первый парень на деревне

Танцующий Аист

Первый парень на деревне 1

«Автор»
2026

Аист Т.

Первый парень на деревне 1 / Т. Аист — «Автор», 2026

Десять лет я нанимал людей. Потом меня заменила нейросеть: она быстрее читает резюме и не просит у начальства отпуск.Я уехал в деревню, в дом прадеда, которого почти не помнил. Отдохнуть, подумать, может, огород завести.Огород в наследство не прилагался. Прилагались: кикимора, которая считает меня своей собственностью, пацаны у сельпо, у которых из кроссовок торчат копыта, санаторий, где пенсионеров доят на кровь, и родственник — вечно пьяный дед, которого почему-то боится весь район.Людей в селе, кроме меня, ровно один. И тот — не от хорошей жизни.А под домом — дыра в другой мир...

© Аист Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сапоги сними 5
Глава 2. Руку не жми 12
Глава 3. Присмотрим 21
Глава 4. Мокрый подол 28
Глава 5. Письмо комбината 36
Глава 6. Автобус не доехал 44
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Первый парень на деревне 1

Глава 1. Сапоги сними

Увольняли меня по видеосвязи, в четверг, до обеда, в перерыве между совещаниями, куда меня уже не звали. Начальница отдела сидела у себя на даче, за спиной у неё цвела сирень, а в кадр то и дело лезла такса. «Мы тебя очень ценим, правда, очень, ты даже не представляешь, — такса получила локтем, сирень качнулась, — просто подбором теперь занимается программа: она сама читает, кто куда хочет, сама звонит людям, сама назначает время и, главное, не уходит в отпуск в августе, а ты же сам знаешь, что у нас творится в августе». Эту систему я знал лучше, чем хотелось бы. Последним поручением мне досталось оформить собственный уход. Уход вышел аккуратный, без единой ошибки: двенадцать лет в кадрах, по-другому просто не умею. В пятницу на общей кухне стоял торт, «Прага», с надписью кремом «Удачи!». Мне как виновнику отрезали кусок со словом «Уда».

Потом началась тишина. Однушку на Ржевке мне сдавали седьмой год. Только теперь выяснилось, что днём в ней слышно всё: холодильник, лифт, соседа сверху — тот, похоже, тоже никуда не ходил. В телефоне хозяйка квартиры так и значилась: «Зоя Максимовна Тихонова, квартира». Написала, как всегда, без «здравствуйте»: «По пятое июля оплачено, продлеваете или показываю?» Ответа от меня не было ни в тот день, ни на следующий: продлевать было не на что, а писать «показывайте» не хотелось. На холодильнике под магнитом с марта лежало письмо от нотариуса из Краснобойска: прадед помер пару лет назад, после него остался дом в селе Пропадино, наследнику по прямой следует явиться с паспортом. Раньше пробегал его по диагонали и каждый раз искал, где попросят перевести пошлину. В последний день мая я прочитал его до самой печати и сложил вчетверо. Потянуло.

В понедельник, первого июня, в электричке с Балтийского ехали дачники с рассадой и я с чемоданом на колёсиках. Рассада сидела у окон, дачники рядом, чтобы ей было видно дорогу. Чемодан стоял в проходе и мешал всем.

План у меня был простой, на одну мысль. До узловой я передумал его много раз: пересидеть лето в доме, доставшемся даром, осенью дом продать и на эти деньги взять первый взнос за студию. Свою. Пусть на краю города, пусть тесную, с ванной, где колени упираются в кран, но такую, откуда меня не выселят и не уволят. Даже чайник там был уже выбран — со стеклянным боком и синей подсветкой, чтобы вода кипела на виду.

На узловой пересадка была в дизель: два вагона, похожие на автобус с колёсами от поезда. В приложении с расписанием он шёл до Краснобойска через станции с понятными названиями. Между двумя из них, где на карте был лес и больше ничего, мимо окна проплыла платформа. Бетонная, на одну сторону, с навесом из профлиста и скамейкой без двух досок.

На табличке было написано «71 км». Семёрка была ярче единицы, будто её подкрашивали отдельно, а на единицу краски не хватило. На платформе никого не было. Машинист высунулся из кабины, посмотрел, не сойдёт ли кто, а дизель даже не притормозил.

В приложении этой платформы не было. Закрыли, значит, а табличку снять забыли. Сходить там, посреди леса, всё равно было некуда.

Автостанция в Краснобойске была одноэтажная, жёлтая, с кассой, где никто ничего не продавал: билеты продавал водитель. ПАЗ стоял у бордюра с открытой дверью и работающим мотором. Из окошка диспетчерской высунулась женщина с карандашом за ухом, высунулась сразу по пояс и крикнула через всю площадь:

— Валерий Степанович, ты торт-то в тень убери, он у тебя с обеда на солнце, растает, так и повезёшь внучке лужу вместо «Наполеона», а она тебе потом до пенсии будет это вспоминать!

Водитель, пожилой и сухой, в рубашке с коротким рукавом и с часами на внутренней стороне запястья, глянул на часы и развернулся к окошку всем корпусом.

— Так он у меня в тени был, Людмила Ивановна, под сиденьем, а сейчас я его на сиденье поставил, чтоб не мялся, он же с ленточкой, я ленточку сам выбирал, красную, она красный любит, ей сегодня семь, семь, ты понимаешь, а я её на руках носил вот такую, с батон, а ты мне про лужу. — Он бережно поднял коробку обеими руками и переставил на сиденье подальше от окна.

— С батон она у тебя была, когда ты ещё на «Икарусе» ездил, а теперь она тебя по телефону учит смайлики ставить, — Людмила Ивановна вынула карандаш из-за уха, погрозила им через площадь и тут же вспомнила про меня: — А вы, молодой человек, садитесь, не стойте на солнце, он всё равно не тронется, пока всему Краснобойску про внучку не расскажет!

За лобовым стеклом у Валерия Степановича стояла картонка «Водитель Глушков В. С.». Деньги он взял, сдачу отсчитал монетами и ссыпал мне в ладонь, продолжая с того же места:

— Семь свечек, и одна запасная, её я сам купил, в хозяйственном, потому что в кондитерской свечки такие, что гаснут от чиха, а моя дуть будет со всей силы, она в садике на утреннике громче всех пела, воспитательница уши затыкала. Туда садись, там не дует. — Он кивнул мне на место у окна.

Кроме меня, сели две женщины с рассадой — по-моему, те же, что ехали со мной с самого Балтийского. В Живине, у церкви, обе сошли, на ходу пересчитывая ящики. Дальше мы поехали втроём: водитель, торт и я.

— А от остановки до Верхней далеко? Я с чемоданом, а чемодан у меня городской: по асфальту ещё едет, а по остальному только грохочет, — я пересел поближе, на сиденье у него за спиной.

Валерий Степанович объехал яму. Коробка на соседнем сиденье подпрыгнула; он придержал её ладонью.

— В Пропадино всё близко, кроме того, что далеко, а Верхняя, это на бугор, один бугор, один, сам увидишь, там не промахнёшься, там дальше только небо да кладбище. А что грохочет, так это ничего, у внучки ранец к школе тоже на колёсиках, первого сентября в первый класс, так она его третью неделю по квартире катает, репетирует, соседи снизу уже по ней время сверяют. А светло у нас в июне всё время, хоть до утра ходи.

На каждом повороте он клал на коробку с тортом правую руку, привычно, ладонью на крышку.

После Живина пришла пора навигатора. Навигатор показал синюю точку посреди поля и сообщил женским голосом: «Маршрут перестроен». Через минуту повторил, уже с упрёком. На третий раз я его выключил: дорога была одна, ПАЗ по ней ехал, и спорить с ним из поля было глупо.

У поворота с асфальта на бетонку стоял синий указатель «Пропадино». Глаза в телефон, глаза обратно — указателя нет, есть берёза, за ней поле. Решить, не показалось ли, я не успел: ПАЗ повернул. Указатель снова стоял на месте, только теперь позади. Берёза закрыла, конечно.

Бетонка шла полями в валунах. Валуны кто-то когда-то собрал в кучи, кучи заросли малиной и стояли посреди травы забытыми стогами. Впереди над березняком долго торчала одна водонапорная башня, ржавая, в пятнах: башня уже была, а села ещё не было.

Высадил он меня у магазина, на разворотном кругу вокруг берёзы. Чемодан уже стоял на асфальте, я рядом, когда Валерий Степанович воткнул передачу, прижал ладонью коробку и крикнул через плечо:

— Ты это, раз на бугор, так в три ночи товарняк пойдёт, в три, минута в минуту, не пугайся, у вас на бугре посуда пляшет, городские с непривычки во двор выскакивают, а там смотреть не на что, одни вагоны, — последнее он договаривал уже в щель закрывающейся

двери: — А я поехал, у меня внучка сегодня именинница, я и так к свечкам не успеваю, а она без деда задувать не…

ПАЗ обошёл круг, не выключая мотора, обдал меня соляркой и ушёл вниз, пустой, в свой Краснобойск, к депо и к свечкам на торте. Я остался.

Было светло по-дневному. На павильоне остановки была мозаика: космонавт с колосом в руке и корова. Корова смотрела в космос с таким видом, будто её туда не взяли.

Расписание было написано мелом на жестяном щите. В нём дважды было зачёркнуто «сб, вс» — единственное, что я понял сразу. Вокруг скамейки лежала шелуха от семечек — много, свежая, тремя кучками. На скамейке никого не было.

Магазин напротив назывался честно — «Магазин № 3 райпо». В окне горел свет, дверь была открыта. Сначала чемодан, а за хлебом и тушёнкой можно спуститься потом: свет в окне горел с таким видом, будто гаснуть не собирался.

На улице никого не было: ни бабушек на лавках, ни детей на великах, ни мужика под машиной. Чемодан гремел колёсиками по гравию на всё село. Ни одна занавеска не шевельнулась. Собаки не лаяли. Лаяли где-то за озером, далеко и лениво.

Понедельник, вечер, сериал.

Верхняя шла в гору. Внизу лежало озеро — на карте оно называлось Бездонное. С бугра этому названию верилось: вода была гладкая, серая и без единой лодки. На том берегу, в соснах, стоял корпус с башенкой — санаторий «Румянец», успела сообщить карта, пока ещё грузилась. В окнах там уже горел свет. Я почему-то позавидовал: у них сейчас ужин по расписанию и кефир.

Справа, где в озеро впадала речка, стояли новые коттеджи: красный профнастил, окна во всю стену, газон, на каждом заборе баннер «Продаётся» с телефоном. Баннеры выгорели до розового: продавались коттеджи, похоже, с тех пор, как розовый был красным. Что при таком раскладе светит избе без газа, я подумал и думать перестал.

На изгибе, где улица сворачивала к центру, стоял крепкий дом, обшитый вагонкой, с лавкой у калитки под черёмухой. Лавка была пустая. За ним дома кончались, дальше начинался бугор.

Дом на самом верху был последним, а жестяная табличка на нём говорила «Верхняя, 1». Последний дом и первый номер. Рубленый, на валунах, с резными наличниками, белыми по выгоревшей синей краске, он стоял лицом к озеру и смотрел поверх меня.

Калитка держалась на верёвочной петле. Петлю я снял и остановился: заходить в чужой дом, даже если он уже твой, неловко. В голове сам собой включился голос нотариуса, Риммы Аркадьевны, — телефонный, усталый, с паузами на подпись: «Дом, насколько мне известно, не заперт, у них там так принято, а если вдруг заперт, спросите у соседей, соседи всегда знают больше нас с вами».

Соседей вокруг не наблюдалось. Дом и правда был не заперт. Дверь в сени открылась на себя без скрипа. Из дома на меня вышло тепло.

Пол в сенях был мытый, с полосами от тряпки, у порога ещё влажный. Разулся сразу и поставил кроссовки у двери носками к выходу. В углу стояло ведро с ковшом, на гвозде висела телогрейка. На стене висело и зеркало, но после электрички, дизеля и ПАЗа смотреть в нём было не на что.

Печь была натоплена. Русская, белёная, она занимала полдома и дышала так, что через минуту у меня взмокла спина. Ладонь на её боку сразу сказала: топили час назад, не раньше. В начале июня, в жару.

Сырость, решил я. Пустой дом протапливают, чтобы не отсырел, — знакомые с дачами про такое рассказывали. Вода в рукомойнике тоже была тёплая — нагрелась, надо думать, от печи, раз стояла с ней рядом.

На стене шли ходики с гирей-шишкой. Гиря была подтянута до самого верха. Такие часы заводят каждый день, иначе они встают. Эти кто-то завёл сегодня, до упора, на целые сутки вперёд.

У окна стоял стол под клеёнкой в подсолнухах. На нём было накрыто на двоих — всё парой, до кружек вверх дном, — и солонка одна на двоих. Посередине — горка под полотенцем. Под приподнятым углом нашлись пироги, румяные, с блестящим верхом и ещё тёплые.

Хозяйки не было.

Картина сложилась сразу, простая. Нотариус предупредила соседку, соседка протопила, чтобы дом не отсырел, завела часы, вымыла пол, напекла и накрыла — себе и мне, по-деревенски, чтобы посидеть и познакомиться, — и отошла на минуту. За молоком. Курам дать. Я бы на её месте тоже отошёл, если бы полдня ждал городского с ПАЗа.

— Здравствуйте, хозяева, я правнук, из Петербурга, насчёт дома. Если я не вовремя, то подожду на крыльце, а если вовремя, то спасибо вам за пироги, и скажите, сколько я должен за дрова, — сказал я в сторону горницы, придерживая чемодан, чтобы он не укатился по кривому полу.

Ответили ходики.

За стол без хозяйки не садятся: это правило ещё городское, с чужих кухонь на чужих новосельях. Сел на табуретку у двери и огляделся.

Между печью и столом в полу был люк. Крышка на кованом кольце, по краю в раму вбиты два гвоздя — не крест-накрест, просто прихвачено, чтобы не открылось. На крышке химическим карандашом, крупно, почерком с наклоном и хвостиками у букв, из старых прописей, было выведено «В подпол не лезь». Лезть туда никто и не собирался, но люк я обошёл по краю. Подпол — это сырость, крысы и гнилая лестница.

Из щелей вокруг крышки тянуло холодом и землёй. Во всём доме это было единственное прохладное место.

Второй обход вышел медленный. Кухня от печи до окна была больше студии, на которую я копил и не накопил, и для этого не понадобилась рулетка. Это был мой дом — не съёмный, не пока хозяйка не передумает. С этой непривычной мыслью я походил по кухне туда-сюда, пока не привык.

Горница была за пятой стеной: сервант, половики и телевизор под вязаной салфеткой, как у всех бабушек страны. Телевизор, включённый из любопытства, показал снег и зашипел.

Спальня пряталась в боковушке за дощатой перегородкой. Железная кровать с панцирной сеткой, перина, горка подушек под кружевной накидкой. Накидка шевелилась.

Я поднял её двумя пальцами. Между подушками, в ямке, лежал свернувшийся ёж и фыркал на меня из колючек.

Соседка выручила и тут. В деревне держат ежей от мышей, вместо кошки, где-то я про это читал. Кот в деревне, если верить мультфильмам, полагается говорящий, а ёж хотя бы молчит. Соседский ёж зашёл в открытую дверь и залез погреться, хотя куда уж тут греться. Ёж высунул нос из колючек и посмотрел на меня так, будто это я залез к нему погреться.

— Давайте так, — сказал я ежу, потому что больше в доме разговаривать было не с кем. Присел перед кроватью на корточки, чтобы разговор шёл на равных: — Кровать тут одна, и она теперь моя, по наследству и по росту, а вам я постелю у печки, в тазу, с тряпкой, и завтра выясню, чей вы, а до тех пор давайте без обид, без шума, без фырк…

Ёж фыркнул.

Через полотенце ёж переехал в эмалированный таз, таз — к печке. Там ёж постоял, не торопясь выбрался через край и уверенно ушёл за печь: у него там, похоже, был свой угол, а в гостях тут был я.

Связи в доме не было. Ни одной палки: ни в горнице, ни у окна, ни на крыльце, ни с телефоном над головой.

В заметках я завёл список — из тех, что пишут перед переездом для хозяина квартиры. «Спросить у соседки: кто топил. Чей ёж. Зачем гвозди в люке». Ниже: «Купить: хлеб, тушёнку, соль». Ещё ниже, отдельной строкой: «Связь — где?»

Связь я пошёл искать за дом. Огород там тянулся вниз к кладбищу — картошка рядами, лук, какие-то грядки под плёнкой. У дальнего забора, на самой меже, телефон поймал одну палку и тут же начал её терять. Кладбище было рядом, рукой подать: оградки, кресты, пара звёзд, берёзы. Кладбище как кладбище. Соседство тихое, подумал я, но шутка вышла так себе.

Пока палка держалась, пришло сообщение от Зои Максимовны: «В субботу в двенадцать показываю, вещи можно не убирать, так даже уютнее». Чужие люди будут смотреть на мою кружку в раковине, на мои носки на батарее и решать, уютно им или нет. Ответить я не успел: палка ушла.

На ужин у меня был бутерброд с Балтийского вокзала, за день в сумке сплющенный до толщины проездного. Съел его на крыльце. Внизу лежало озеро, на том берегу горели окна санатория. Солнце долго не садилось, а когда село, ничего не изменилось. До магазина дело так и не дошло.

Соседку прождал до одиннадцати — по часам, потому что по небу было не понять, вечер это или утро. Соседка не пришла. Пироги пахли сквозь полотенце на весь дом. Я подходил к столу и отходил, и подходил опять. Бутерброд был съеден, чужие пироги оставались чужими, пока хозяйка не скажет «берите».

Лёг в боковушке на перину и провалился в неё по уши.

Ночь так и не наступила.

В городе ночь — это когда задёрнул шторы и дальше не твоё дело. Здесь штор не было. За окном стоял серый подъездный свет, какой бывает после замены лампочки на энергосберегающую: всё видно и ничего не хочется видеть. Можно было читать — проверено: письмо нотариуса я прочитал без лампы, до печати, в пятый раз.

От этого было только хуже. Когда ничего не видно, ничего и не видишь. Когда видно всё, видно, что всё стоит на своих местах и чего-то ждёт.

Будильник ставить было незачем. Впервые за много лет утром меня никто нигде не ждал: ни совещание, ни проходная, ни очередь к кофейному автомату, где все стоят с одинаковыми лицами. Можно было спать до обеда, до вечера, до осени. Выспаться — это была вторая моя мечта после студии. Эта была ближе: для неё не нужен был первый взнос, только плотные шторы и тишина. Тишины тут было сколько угодно.

Около часу за перегородкой заскрипело. Мерно, раз в секунду, с оттяжкой — велотренажёр у соседей сверху, решивших начать новую жизнь с понедельника и начавших её ночью. Соседей сверху у меня здесь не было. Ходики тикали чаще. Ёж, насколько я знаю ежей, скрипеть не умеет.

На кухню пошёл босиком: тапок у меня не было, кроссовки стояли в сенях. Скрип кончился на полушаге, на середине оборота, оставив одни ходики.

На полу от печи к порогу шли следы. Мокрые, узкие, босые и маленькие — тридцать пятый размер, не больше, с круглой пяткой и отдельными пальчиками. Посчитал. Одиннадцать.

Из угла за печью они шли шаг в шаг, без спешки, до самого порога и там кончались. Дверь в сени открылась без звука. Пол там был сухой, кроссовки стояли на месте, носками к выходу.

Соседка, сказал я себе. Пришла за чем-нибудь и ушла, пока я спал: босиком, после огорода, с мокрыми ногами. Для этого ей надо было сначала войти. Следов, которые шли бы в дом, не было, были только те, что шли из дома. Они обрывались на пороге, будто человек дошёл до двери, а дальше пошёл не ногами.

Щёлкнул выключатель. Лампочка под потолком загорелась жёлто и нехотя. При ней следы стали видны хуже, а угол за печью — лучше.

За печью был угол: лавка, деревянное колесо на ножке, прямо из краеведческого музея, пучок серой шерсти на палке, ухват у стены. Под лавкой сидел ёж и смотрел на мои босые ноги. Больше никого.

Колесо стояло. От пальца оно повернулось раз, скрипнуло тем самым скрипом и остановилось.

Когда я обернулся, у печной заслонки стояла тень. Небольшая, мне по плечо, будто кто-то в платке. Я оглянулся на выключатель — горит ли, — а когда повернулся обратно, на гвозде у заслонки висело полотенце, клетчатое, второе в доме.

Хуже всего было то, что память не говорила, висело ли оно там вечером. Про полотенце на пирогах я помнил. Про гвоздь у заслонки — нет.

Сел за стол лицом к печи, спиной к окну и стал ждать, сам не зная чего, — может, что за печью скрипнет ещё раз и станет понятно, куда смотреть. Страшно мне было в подробностях: следы сохли от печи к порогу, первые уже пропали, последние ещё блестели, и я смотрел, какой пропадёт следующим.

В городе от такого включают телевизор. Телевизор здесь показывал снег, и я поставил чайник: чайник ещё никого не подводил. Он стоял на печи и оказался горячим раньше, чем я до него дошёл.

Лампочку оставил гореть, хотя при таком небе она ничего не прибавляла, а дверь в сени — открытой, чтобы видеть порог и кроссовки. Сидел, пока голова сама не легла на руки.

Разбудила меня посуда. В горнице, в серванте, зазвенело всё сразу, мелко и дружно. Задрожал пол, зазудели стёкла, ложки на столе запрыгали и застучали по тарелкам. Дом гудел весь, от валунов до конька.

Я вскочил, сунул ноги в кроссовки, не развязывая и сминая задники, выскочил на крыльцо — сам не знаю, от чего спасаться и куда. Во двор не побежал только потому, что с крыльца всё стало видно.

Слева, внизу, по насыпи шёл товарняк. Длинный, в серых вагонах с узкими щелями под крышей, откуда тянуло теплом. Вагоны шли и шли. Ни один не мычал.

В три, как обещал водитель. Телефон показал три, минута в минуту. Посуда в доме доплясывала своё.

Я стоял на крыльце в трусах, в футболке и в кроссовках со смятыми задниками, в три часа ночи, при свете, при котором можно читать газету, и только теперь мне стало смешно. Смеялся тихо, чтобы не разбудить село. Село не проснулось.

Голод пришёл такой, какого не было с того торта. Снимая полотенце с горки, я повернулся к печи:

— Прошу прощения, но до утра я не дотерплю. А за пироги… не знаю, чем у вас за такое платят, но калитку я поправлю, она у вас на верёвочке.

Пироги были тёплые. Среди ночи, через целый вечер и товарняк — только что из печи. Печь держит, решил я. Это было последнее скучное объяснение, на которое у меня хватило сил.

С яйцом и зелёным луком, тесто тонкое, снизу хрусткая корочка. Один, потом второй, потом счёт кончился. Где-то на пятом меня отпустило — сразу и целиком. Лучших пирогов в моей жизни не было, а за годы комплексных обедов возле офиса в еде поневоле начнёшь разбираться. Я съел всё. Последний — медленно, с корочкой.

Вторая тарелка стояла чистая. Я отодвинул её, чтобы не мешала локтю, а потом зачем-то придвинул обратно, точно на тот кружок, что она оставила на клеёнке.

Сытый, я уже пошёл было в боковушку, но вспомнил про люк. Если дом так трясёт каждую ночь, гвозди могли выйти. Провалиться в собственный подпол в первую же ночь было бы чересчур даже для этого дня.

Присел у люка на корточки. Гвозди сидели, как сидели. Записка была на месте, из щелей тянуло холодом. Я положил ладонь на кольцо, просто проверить, крепко ли, — и тут из-за печи, скрипуче и по-хозяйски, сказали:

— Сапоги сними, хозяин.

Глава 2. Руку не жми

— А я мыла, а ты по мытому, да среди ночи, да с улицы, да к подполу.

Ухват за печью стукнул об пол. Ложки на столе звякнули.

Руку с кольца я убрал сразу. Разувался раньше, чем подумал: в съёмных квартирах на «я мыла» сначала разуваются, а потом выясняют, кто мыл. Правая кроссовка застряла на пятке, пришлось сесть на пол. С пола было видно, что от порога до люка по доскам идут серые следы с ёлочкой протектора. Мои. Доски между ними были чистые и ещё влажные.

— Кто здесь? — спросил я.

За печью не ответили. Я встал и в носках, по мытому, заглянул за печь. Там было то же, что в первом часу: лавка, колесо, пучок шерсти на палке. Ухват стоял у стены. Под лавкой сидел ёж.

Кроссовки я отнёс в сени и поставил носками к выходу. В боковушку ушёл в носках и дверь за собой закрывать не стал.

Разбудил меня ёж: тяжело для своего роста топотал по перине в ногах и фыркал. Кроссовки стояли за порогом, на крыльце, пара к паре, полные воды до самых язычков.

Дождя ночью не было: доски крыльца сухие, небо над озером чистое. От воды пахло хозяйственным мылом. Кто-то их вымыл — на совесть, снаружи и изнутри, вместе со шнурками. Оставил отмокать, чтобы потом легче отошло.

Собрал соседку заново. Вышла она хуже вчерашней. Допустим, она тоже проснулась от товарняка, пошла проверить, цел ли городской, и увидела в окно, как он в уличной обуви сидит на корточках посреди её мытого пола. За печью, под самым потолком, было окошко в огород в две ладони, с открытой форточкой. Я сходил посмотреть снаружи: до окошка от земли было метра два с половиной, а под ним стояла крапива — целая, ни одного сломанного стебля. Значит, соседка кричала с лестницы, которую потом унесла, или ростом она под три метра, или кричала не соседка. Третий вариант понравился мне меньше первых двух. Я остался на первом — не потому, что поверил, а потому, что с соседкой можно договориться, а с третьим вариантом я не знал даже, с какого слова начинать.

Воду вылил в малину, а кроссовки поставил на солнце, пятками к стене.

Стол на кухне был пустой. Обе тарелки, вымытые, стояли одна в другой на полке над рукомойником. А на печной заслонке, на чёрном железе, мелом, круглыми крупными буквами, столбиком было выведено: «соль, спички, дрожжи».

Записка на заслонке была хозяйская. Соль мне и так была нужна. Спички в доме с печью нужны и без записок. А дрожжи значили, что пироги здесь пекут не из воздуха. Мне вежливо, мелом, объяснили, из чего пекутся пироги. И кто пойдёт за дрожжами.

Я бы и сам пошёл. После вчерашних я пошёл бы и за мукой.

Разговаривать с печью было глупо. Молчать при ком-то в одной кухне было ещё глупее, если этот кто-то там есть.

— Доброе утро. Соль, спички и дрожжи я сегодня куплю, за пироги спасибо, а кроссовки я вымыл бы и сам. Одно плохо: вы меня зовёте хозяином, а я вас никак, и это всё равно что жить в одной квартире и здороваться в коридоре кивком. Скажите, как к вам обращаться, — сказал я в сторону печи, негромко.

Печь молчала. Из огорода в форточку залетела муха, покружила над заслонкой и улетела обратно, будто прочитала список: ей там ничего не было нужно.

Ёж вышел из боковушки, по своим делам пересёк кухню наискосок и скрылся за печью. Разрешения он не спрашивал.

Кроссовки к обеду высохли снаружи и остались мокрыми внутри. Других у меня не было. Надетые, они хлюпнули так громко, что за печью, по-моему, кто-то остался доволен.

Вниз по Верхней кроссовки хлюпали на каждом шаге: шёл я в магазин, а звучал — вброд. Лавка у дома в вагонке, под черёмухой, опять была пустая. На ней лежала кепка, козырьком к дороге: место было занято.

У магазина сидели трое. Сидели на корточках у крыльца, в спортивных костюмах с полосками, лузгали семечки в бумажный кулёк и передавали его по ряду. Каждый брал ровно щепоть. Средний был постарше и смотрел на дорогу. Слева жилистый, с жёлтыми ногтями, гонял по костяшкам спичечный коробок, ловко, не глядя на него. Справа сидел самый молодой. Он первым меня увидел и первым привстал.

Тот, что с коробком, приподнял кепку за козырёк и опустил обратно.

— Здорово, начальник, с приездом тебя, с новосельем, как спалось на бугре, жалоб, претензий не имеется? Не трясло? А то у нас на бугре с непривычки, говорят, посуда пляшет.

— Плясала, а я смотрел, у меня был билет в первый ряд, — ответил я и прошёл внутрь.

Начальником меня не звали даже на работе. Видимо, здесь так зовут любого мужчину в чистой рубашке.

Внутри пахло хлебом, хлоркой и мокрой тряпкой. За прилавком до самого потолка тянулись полки. На верхних стояли банки, не снятые, по-моему, ни разу в жизни. Продавщица сидела у кассы в синем халате и белом колпаке, крупная, румяная, с руками на счётах. Разговаривать, как выяснилось, она предпочитала со счётами: голоса на покупателя у неё хватало, а глаза оставались на костяшках. Над огнетушителем висела табличка «Ответственный за пожарную безопасность — Мохова Г. С.».

Первым делом — морозильник. Пломбир в вафельном стаканчике не попадался мне с тех пор, как его продавали в киосках у метро, а тут он лежал сверху, в инее. Один, подумал — и второй.

Когда я повернулся, на прилавке уже лежали соль, крупная, в пачке, коробок спичек и пакетик сухих дрожжей. Рядом — буханка серого и банка тушёнки.

— Вас много, а я одна. Столбом посреди магазина не стойте. Берите, что лежит. Мороженое тает, я его не для того морозила, чтобы вы его в руках грели. Вы у меня теперь два пломбира. — Продавщица щёлкнула костяшкой на счётах и подвинула ко мне соль.

Кроме меня, в магазине никого не было. Соль, спички, дрожжи — список с заслонки, строчка в строчку. Рабочая версия выдержала и это: соседка заходила с утра и продиктовала продавщице, что нужно городскому с Верхней. Выдержала, но со скрипом: соседка, которая кричит с лестницы, моет чужую обувь и диктует чужие покупки, выходила женщиной очень занятой.

Я положил на прилавок тысячу и придержал её пальцем, чтобы разговор не кончился раньше сдачи.

— Спасибо, раз уж вы в курсе, может, скажете, какая из соседок у меня на Верхней топила печь и пекла пироги? Я хочу хотя бы узнать, как её зовут, и спасибо сказать, а то живём, выходит, почти вместе, а я даже не представился.

— Я вам не справочное, молодой человек. — Костяшка съехала вбок. Тут же, будто сама себя не расслышала, продавщица полезла под прилавок за кульком. — Соль крупная, как есть: мелкую она не берёт, у неё мелкая сыреет. Дрожжи сухие. Живых не держим, живые у неё свои. Спички эти, те с весны отсырели. Хлеб серый, белого она не признаёт, она у меня так и записана: «крупная соль и серый», её тут все так и зовут, кто вообще зовёт. — Кулёк наполнился. Она прихлопнула его ладонью. — А тушёнка, это уже вам, от меня. Вы худой.

— А «она», это кто, простите? — успел вставить я.

— А сдачи у меня с тысячи нет, — ответила продавщица и выдвинула из-под прилавка коробку гематогена.

Плитки она отсчитала по одной, щёлкая на каждой костяшкой, три штуки, а четвёртую положила сверху, без щелчка:

— А это вам за «спасибо», у нас тут не все говорят, некоторые только «дай» да «запиши».

В углу была открыта дверь в пристройку, а за ней стеллаж до потолка, ячейки с номерами, серые пакеты и синяя вывеска пункта выдачи. На полке мигал роутер — первое в селе, что было из моего мира.

— Заказывать сюда можно. Хоть трактор. Привезут, выдам. Паспорт только не забывайте: один тут без паспорта за удочкой пришёл, так я ему удочку выдала, а он мне потом полгода рыбу носил, отрабатывал. Пароль от роутера не говорю никому, даже не просите. Роутер у меня на сканер, не на всё село. Телефон у нас ловит у колодца, если встать на левый край плиты и руку поднять, как в школе, когда знаешь ответ, только повыше. — Продавщица махнула рукой в сторону пристройки. Колпак у неё съехал набок.

С пакетом и пломбиром я вышел на крыльцо. Трое проводили меня глазами, все разом, одним поворотом головы, младший на полсекунды раньше.

Колодец стоял напротив, посреди пятачка: сруб под двускатной крышкой, журавль с колесом на противовесе, мятое ведро на цепи. На левом краю мокрой плиты, с телефоном в поднятой руке, я поймал одну палку, которая то пропадала, то возвращалась.

Про гамак подумал ещё утром, над кроссовками с водой. За домом, у сарая, стояли два столба от бельевой верёвки, а верёвки не было. Гамак встал бы между ними как влитой: вид на озеро, тень после обеда и книжка, третий год недочитанная. Покупка была на одно лето: осенью останется новым хозяевам вместе с домом, заодно с занавесками.

Приложение грузилось по кусочку: сначала цены, потом картинки, потом кнопка «купить». Выбрал полосатый, с деревянными планками. Приложение подумало и пообещало пятницу, двенадцатое июня, с таким видом, будто это оно решило.

Доедал пломбир тут же, стоя на плите с поднятой рукой: в одной телефон, в другой стаканчик.

— Во, гляди, начальник на палку молится, — самый молодой толкнул локтем соседа и, пока тот стряхивал с колен семечки, выложил уже на всю площадь: — Все городские у палки стоят, а чё, у нас палка одна на всё село, тут и у кладбища, а к кладбищу городские не ходят, им туда рано, им сюда, к колодцу, мы-то знаем, у нас тут все городские стоят, пока не сбегут, их до тебя трое было, один до пятницы достоял, второй до среды, а третий вообще с ПАЗа не слез, в окно на Толяна посмотрел и назад в Краснобойск уехал, ну типа, и за билет ему даже не вернули.

Старший, не поднимаясь с корточек, сплюнул шелуху младшему точно на кроссовку.

— Язык у тебя до Краснобойска, а ноги до сельпо. Тот, с ПАЗа, в окно глядел, а у этого на бугре сруб, печь в нём кладена с умом, тяга: хоть самовар ставь. Печь, она не сбежит.

Мотороллер было слышно раньше, чем видно: он трещал на всю Центральную с перебоями. На каждом перебое кто-нибудь выглядывал из-за забора. Синий, битый, с коляской, в коляске мешок и две канистры, он встал у крыльца, чихнув напоследок. С него слез парень лет двадцати пяти, длинный и нескладный, в кепке козырьком назад и в резиновых сапогах, хотя луж в селе не было, по-моему, с весны.

— Живой, пирожок будешь? — младший уже стоял рядом и протягивал ему что-то в промасленной бумаге, так быстро, что держал, видно, наготове с утра. — С капустой, тётя Галя вчерашние отдала, а вчерашние, они самые, они за ночь доходят, ну типа, как борщ, чё ты, бери, пока Толян не видит.

Парень взял, откусил половину и благодарно кивнул младшему, прижав пирожок к груди. Прозвище было непонятное. Навернулся, наверно, когда-то на своём мотороллере с бугра и остался цел: мотороллер выглядел так, что в это верилось.

Потом он заметил меня, прожевал и пошёл через пятачок прямо ко мне, на ходу вытирая руку о штаны для рукопожатия.

— Ты ж с Верхней, городской, который вчера с ПАЗа, с чемоданом на колёсиках? — он пожал мне руку крепко, сухо, по-человечески и не отпускал, пока не договорил: — И ты Андрюха, мне тётя Галя сказала, а я Витёк, Виктор Николаевич, если по паспорту, Жилин, но по паспорту меня только почта зовёт, и то не всегда.

Своего имени я здесь никому не называл. Витёк узнал от тёти Гали, тётя Галя, выходит, от соседки, а соседка — от нотариуса?

Двое тем временем поднялись, отряхнули колени и подошли — тот, что с коробком, впереди, младший за ним. Старший остался сидеть на корточках.

Тот, что с коробком, переложил его в левую руку, а правую протянул мне, ладонью вбок.

— Слышь, начальник, мы ж по-людски, первое: с приездом, второе: с новосельем, чисто по-соседски, а третье: давай краба, и будем знакомы, по-братски, а то живём, считай, на одной горке, а всё как неродные.

Рука у меня поднялась сама, машинально. Витёк, не выпуская пирожка, шагнул между нами и сплюнул в сторону капусту.

— Ты пацанам руку не жми, пока не договорились, — он вытер ладонь о штаны, за меня, — а договорились, тоже не жми, кивни, и хватит, а то у них рука потом три дня спичками пахнет, и ты ещё и должен выходишь, и не спрашивай сколько, они сами скажут. Я предупредил.

Тот, что с коробком, не обиделся: оглядел с обеих сторон свою пустую ладонь и убрал её в карман. У Витька с ними, видно, были старые счёты. Лезть в них в первый день не стоило. Но и отступать при всех было глупо.

— Давайте так, — я опустил руку и перехватил пакет, — знакомиться я рад, здороваться тоже, а руки пожмём, когда будет за что, а не за то, что я приехал. Я теперь здесь живу, так что поводов, думаю, наберётся.

Старший заговорил с корточек, руки в карманах, медленно, с расстановкой:

— Значит, так, я Толян, это Серый, это Мелкий, руки пока держим при себе, повод будет, поглядим, а живёшь ты тут или так, приехал, это мы тоже поглядим, и всё.

Мелкий с этим «поглядим» был не согласен. Он дёрнулся ко мне — видно, решил, что пожмёт хотя бы он, раз Серому не дали, — уже тянул руку и говорил на ходу:

— А чё поглядим, я и так вижу, нормальный начальник, с пломбиром, ну типа свой, давай со мной, у меня рука не пахнет, это у Серого пахнет, он с коробком и спит.

На последнем слове он шаркнул ногой по асфальту.

Из кроссовки торчало копыто.

Раздвоенное, тёмное, блестящее. Мелкий переступил, шаркнул ещё раз. На асфальте стояла кроссовка с тремя полосками, большая, мятая в носке, и ничего из неё не торчало.

Мелкий посмотрел на Толяна, Толян на Мелкого, и Мелкий сел обратно на корточки, так и не пожав.

Спал этой ночью часа три, не больше: товарняк, следы, пироги до утра. После таких ночей мне и в городе мерещилось всякое. Недосып, решил я. Мелкий наступил на фантик. Тот блеснул. И всё-таки, пока Витёк доедал пирожок, я ещё раз посмотрел на кроссовки Мелкого. Три полоски, мятый нос, всё как у людей, только стоял он в них странно — на носках, пятками вверх, будто в обуви на два размера больше. Или это я уже додумывал.

Витёк доел пирожок, посмотрел на меня, потом на мои кроссовки, хлюпнувшие, когда я переступил, и кивнул на коляску.

— Садись, мне всё равно по делам кругом, мешок бабке завезти, и туда, и сюда, так я тебе заодно и покажу, что где, а то городской у нас без показа в трёх соснах заблудится, и это не поговорка, у клуба правда три сосны, сам увидишь, — он утрамбовал мешок сапогом, освобождая мне место.

Коляска строилась под мешок, не под человека: колени у подбородка, пакет на коленях, у плеча канистра, булькавшая на каждой кочке.

Первая остановка была через десять шагов, у колодца. К журавлю как раз подошли две старушки в платках, с вёдрами. Витёк заглушил мотор, чтобы с ними поздороваться — не крикнуть на ходу, а поздороваться, с остановкой и кепкой в руке.

— Здрасьте, Лида Ильинична, здрасьте, Антонина Петровна, это вот Андрюха, с Верхней, новый, — Витёк пригладил вихор и снова надел кепку козырьком назад.

— Слышали, слышали, с ПАЗа да с чемоданом, чемодан на всё село гремел, мы уж думали, трактор с Живина, а чего ж мокрый-то весь снизу, в озеро, что ль, с дороги полез? — Маленькая, Лида Ильинична, поставила ведро на сруб и оглядела меня с ног до хлюпающих кроссовок.

Я выбрался из коляски, чтобы разговаривать не снизу.

— Кроссовки, это отдельная история, а спросить я хотел другое: у меня на Верхней кто-то из соседок печь топил, пироги пёк, пол вымыл, хочу поблагодарить, а кого, не знаю. Не подскажете?

— Так ваша, — сказала Лида Ильинична и опустила ведро в колодец.

— Что «ваша», Лида, ты человеку толком скажи, он же городской, он не понимает, — Антонина Петровна перехватила цепь, помогла вытянуть ведро и, пока вода переливалась через край, растолковала мне уже как следует, по слогам, с учительским пальцем: — Ва-ша. Чья ж ещё. А наши все по домам сидят, нашим по чужим печкам некогда, у нас своих по две.

— И ёж ваш, а в колодец через край не свешивайся, не гляди, там не наши, — добавила Лида Ильинична, хотя про ежа я ещё не начинал.

На крышке сруба так и было вырезано ножом: «не гляди». Детей, наверно, так пугают, чтобы не свешивались.

Пока я стоял у сруба, телефон поймал палку и дзынькнул. Писали в чате старого отдела, откуда меня так никто и не удалил: «Ну как там на пенсии?)) Не скучаешь?» Под этим стояли сердечки, все одинаковые. Я набрал «не скучаю» и стёр: палка пропала раньше, чем я решил, правда ли это. За все годы в кадрах никто ни разу не спросил, как там у меня, а теперь спросили — потому что меня там уже не было.

Клуб стоял за тремя соснами — деревянный, оштукатуренный, с портиком. Колонны в портике были фанерные, крашенные под мрамор: издалека дом культуры из старого фильма, вблизи декорация к нему. Над надписью «Клуб» светлело пустое место от звезды.

— Это на удачу, тут все стучат, кто в клуб идёт, и артисты из района тоже, а то у них голос садится, — Витёк постучал по колонне костяшкой. Колонна отозвалась гулко и пусто.

На двери мелом было написано: «Пт — кино. Сб — танцы. Ср — хор». Рядом висела доска объявлений, пустая, с четырьмя ржавыми кнопками. Из пакета достал магазинный чек, из кармана — ручку и на обороте написал: «Соседку, которая топит печь в крайнем доме на Верхней, прошу зайти или сказать, где вас найти. Хочу сказать спасибо». Подумал и подписался: «Новый хозяин».

Прикнопить я не успел. Витёк отобрал у меня чек, быстро и без спросу, сложил вчетверо и сунул мне в нагрудный карман.

— Не, у нас так не делают, — он поправил мне клапан кармана, чтобы чек не торчал. Заговорил мирно, вполголоса, оглянувшись на колодец: — Про соседей объявлений не вешают, и по имени их не зовут, и по дворам с вопросами не ходят, а кому надо, тот сам к тебе придёт, а кому не надо, тоже придёт, и ты его потом не выгонишь, и будет он у тебя сидеть до Покрова, и чай пить, и варенье твоё есть, и ещё спасибо не скажет.

— А почему не делают-то? Объявление же, не донос, я человеку спасибо сказать хочу, — я похлопал себя по карману, где лежал чек.

— Так не делают, потому что… ну, потому что и не делают, — Витёк развёл руками, честно и беспомощно.

Худая женщина с рыжими волосами до пояса, в вязаной кофте, вышла из клуба и принялась трясти половик с крыльца, так что пыль полетела на Витька.

— Шивон Патриковна, ну хоть кричите, когда трясёте, я ж в чистом! — Витёк замахал кепкой, разгоняя пыль.

— Шивон Патриковна, у меня к вам вопрос, и подвох в нём не мой, — я обошёл крыльцо с той стороны, куда пыль не летела, — кто у меня на Верхней печь топит? Мне у колодца сказали «ваша», и я теперь хожу и проверяю, одинаково ли у вас тут отвечают, или это колодец пошутил.

— Так ваша же! — Шивон Патриковна расхохоталась так, что половик у неё в руках заходил волной. — Ой, не могу, городской, ваша, ваша, ну кто ж ещё, вы у себя в кармане поищите!

И ушла внутрь, унося половик и смех. Смех ещё какое-то время было слышно из-за двери.

Школа была через дорогу, серого кирпича: наверху окна заколочены фанерой, внизу замазаны побелкой изнутри, до самого верха. Во дворе цвели бархатцы. На единственной незаколоченной двери висела табличка «3 класс».

— У нас тут третий класс уже сорок лет, и учитель у них один, он же директор, и ты под окнами не шуми, даже летом, он всё равно узнает, кто шумел, и придёт, и будет стоять и смотреть, пока сам не извинишься. — Витёк гордо кивнул на табличку и прибавил газу.

Табличку, выходит, повесили сорок лет назад и забыли; у клуба со звездой вышло наоборот: звезду сняли, а табличку оставили.

— Анекдот дня хочешь? У меня на каждый день по одному, для здоровья, а сегодняшний хороший, старый, проверенный, — Витёк свернул на Совхозную и, не дожидаясь ответа, начал: — Едет, значит, городской мимо деревни, — он объехал лужу, которой не было, по привычке, — и видит: мужик у яблони свинью на руки поднимает, и держит, и свинья прямо с ветки яблоки ест, а мужик держит, и держит, и она ест. А городской ему из машины: мужик, ты ж так до вечера провозишься, сколько времени теряешь! А мужик ему…

Этот анекдот был мне знаком.

— Витёк, я знаю, там про время, — попробовал я его остановить.

— А мужик ему, значит, — Витёк не сбился и начал этот кусок заново, с той же интонацией, — а мужик ему: а чего свинье время?

Сам он не засмеялся. Он посмотрел на меня сбоку, серьёзно, проверяя, дошло ли. Я засмеялся — не над анекдотом, а над тем, как он его рассказал. Витёк кивнул, довольный: это и был правильный ответ.

На Совхозной стояли две двухэтажки белого кирпича, под шифером, с трещинами по швам. Между ними на верёвках сохли простыни, наволочки и огромные мужские трусы в цветочек, хлопавшие на ветру. Кто всё это повесил, видно не было. На лавке у подъезда сидели две старушки и лузгали семечки в одну газету, расстеленную на двоих.

— Я вон в первой живу, в третьей квартире, бабкина квартира, если что, стучи в окно, звонок с бабкиных времён не работает, а мешок, это бабке со второго этажа, у неё куры злые, ты к сараю не подходи, я предупредил. — Витёк махнул на окно с геранью и полез в коляску за мешком.

Пока он носил мешок, я подошёл к лавке.

— Здравствуйте. Я уже знаю, что вы мне скажете «ваша», мне это сегодня два раза говорили, так я по-другому спрошу: ваша, она какая? Старая, молодая, в платке, без? Мне бы хоть знать, кого благодарить, если на улице встречу. — Я показал рукой на бугор.

— Ваша, — сказала та, что в зелёном платке, и сплюнула шелуху в газету, — а какая, у неё и спросишь, если покажется. Она тебе не всякому покажется.

Та, что в синем, отложила семечку и повернулась к подруге.

— Чего это его-то, Вера, это он её, он вчера приехал, а она там сколько сидит, так кто чей?

— Кто первый пришёл, тот и хозяин, это ты, Нина, у себя в огороде так считай, а тут дом, тут по-другому, тут по бумагам, — Вера тоже развернулась. Газета с семечками поехала у них с колен.

— По бумагам! А Пётр твой мне забор на полметра в огород поставил, это тоже по бумагам? — Нина хлопнула ладонью по лавке. Семечки подпрыгнули. — Я мерила, Вера, я рулеткой мерила!

Про меня они забыли на середине второй фразы. Витёк вышел из подъезда, послушал с порога, не перебивая, кивнул старушкам и увёл меня к мотороллеру за локоть.

— Это у Веры Егоровны с Ниной Фёдоровной с восемьдесят седьмого года, про забор, ты не встревай, там до пенсии не разберутся, а пенсия у них обеих уже лет двадцать, — сказал он уже у коляски.

С края Совхозной было видно вниз, до мостков и перевёрнутых лодок. Встречные здоровались с Витьком через дорогу, громко, с вопросами про бабку, про бензин, про мотороллер, а меня только разглядывали — во взгляде стояло: знаем, знаем.

У подножия Верхней Витёк затормозил.

— Всё, вылезай, дальше сам, в гору он у меня с коляской не тянет, только пустой, а мне ещё к лодкам, дядьке бензин, а дядька без бензина злой, он мне с утра два раза звонил, а он звонить не любит, он любит, чтоб само приезжало, — Витёк похлопал мотороллер по бензобаку.

— Ты ел сегодня? — он уже сидел в седле и, оглядев мой пакет, ответил себе сам: — Пломбир, это не еда, пломбир, это для настроения, ты тушёнку открой, с хлебом, а то у тебя на голодный желудок всё ваша да ваша, я же вижу.

Мотороллер затрещал вниз, к воде. Я пошёл в гору. Кроссовки хлюпали теперь только левой, и то через раз.

Соль, спички и дрожжи я поставил на полку у печи — прямо под заслонку, под список, чтобы было видно, что куплено всё. На шестке лежал огрызок мела. Подумав, я написал ниже такими же печатными буквами: «Куплено». И ещё ниже: «Как вас зовут?»

Тушёнку съел на крыльце, прямо из банки, с серым хлебом, по рецепту Витька. Завтра — первым ПАЗом в район, к нотариусу. Часы в доме сказали девять, озеро с этим не согласилось.

Калитку открыли снаружи: сняли верёвочную петлю со столба привычной рукой, свою. Во двор шёл сухонький старичок в кепке, в пиджаке поверх майки и в галошах на босу ногу, с авоськой, в которой перекатывалась бутылка. Нос у него был красный, а глаза ясные, как у человека, который сегодня уже выпил, но точно помнит сколько.

— Ну, здорово, городской, с новосельем, значит, — старичок остановился у крыльца, снял кепку и посмотрел на меня снизу вверх, прищурясь, — я вон, на изгибе живу, под черёмухой, ты мимо ходил, а лавку мою видел, а кепку мою на лавке видел, а меня не видел, а я тебя видел. — Он постучал себя кепкой по колену. — Родня мы, значит, с тобой.

Родня так родня: копни любое село — все друг другу родня. Сказал он это между делом.

— Проходите в дом, раз родня, у меня там чайник и, кажется, даже чашки, — я посторонился на крыльце.

Старичок сел на ступеньку ниже моей, поставил авоську между галош и достал из внутреннего кармана пиджака гранёный стакан, оттуда, где у других лежат очки.

— В дом не пойду, я в галошах, а в дому мыто, а чаю, если нальёшь, выпью, только чай ты себе, а я со своим, мне чай по вечерам не велят, от чая у меня сна нет.

Чайник стоял на печи — эмалированный, полный и горячий, к моему приходу. В кружку я налил себе чаю, старичок плеснул себе в стакан из бутылки на два пальца и поднял его.

— Ну, с почином, первая, значит, за знакомство, а вторую не наливаю, вторую потом, и ты не смотри, что мало, это я не жадный, это я здоровье берегу. — Он посмотрел на меня поверх стакана и подмигнул, будто мы с ним давно сговорились.

Выпил, крякнул и поставил стакан на колено, донышком точно в заплатку на штанине.

— Вот у нас на Набережной, значит, коза, Люськина коза, белая, с бородой, чисто председатель, три дня на крыше бани сидела. — Старичок поднял палец. — Как залезла, никто не видал, а слезать не хочет, и ни Люська её не сманит, ни хлебом, ни уговорами, ни пожарными, пожарные из района приехали, постояли, покурили и уехали, у них, говорят, козы по инструкции не положены. — Он долил себе на палец. — А на третий день хозяин сам полез, Петька, Люськин-то, с веником, и не бить её, а баню топить, потому что суббота, а суббота, это баня, хоть коза, хоть не коза. Он, значит, наверх, а она ему навстречу… и вниз, по лестнице, по-людски, и в огород, и капусту есть. Потому что уважение, а? Не к венику, к субботе.

Я засмеялся. Он кивнул и, не спрашивая, чокнулся с моей кружкой. Стаканом показал на озеро, серое и гладкое внизу.

— А Бездонное наше, думаешь, почему Бездонное? Дно-то есть? Есть дно. Просто до него никто не доставал. Мы с Петькиным отцом, в семьдесят девятом, что ли, году, гирю спускали, пудовую, с лодки, на верёвке, всю верёвку спустили, бельевую, у Люськи со двора сняли, так Люська до сих пор не простила, а дна нет. Вытащили, а гиря сухая. Сухая, а? С самого дна. Вот и думай, есть там дно или нет, а кто доставал, тот не рассказывает. — Он покачал стаканом.

Я поставил кружку на ступеньку.

— А раз вы родня и всех тут знаете, скажите, какая соседка у меня топит печь, я за день спросил полсела, и все говорят «ваша», я уже думаю, может, фамилия такая: Ваша.

Старичок покачал головой над детским вопросом и отпил.

— Соседки, городской, они как погода: утром одна, вечером другая, а вот у нас в прошлом году грибник, из Краснобойска, в трёх соснах у клуба заблудился, в трёх! Ходил, ходил, кругами, корзину полную набрал, а грибов у клуба сроду не было, — он поднял палец и тем же пальцем, между двумя словами, в паузе на глоток, постучал меня по колену: — Ты хозяйку-то не обижай, а? Которая за печью. Пей чай, стынет. А грибник-то, значит, к утру вышел, к сельпо, корзину Галке сдал и пошёл, и больше его не видали, а грибы хорошие были, белые, я жарил. А завтра, значит, с озера ветер, к обеду тучки, а дождя не будет, дождь у нас по четвергам, это ещё с совхоза так заведено, а?

«За печью» он сказал мимоходом, между грибником и глотком, а у меня, пока он это говорил, остыл чай. Ночью оттуда, из-за печи, со мной разговаривали. Утром это объяснили окошко под потолком и соседка на лестнице. Объяснение продержалось до обеда, а теперь человек, проживший тут всю жизнь, называл это место спокойно.

— Не обижу, — пообещал я и отодвинул кружку подальше, чтобы освободить руки, — только вы мне скажите, раз уж сами начали: за печью у меня угол с прялкой, лавка и ёж, и больше там никого нет, я ночью со светом смотрел. Так кого я там могу обидеть, если там никого нет?

Старичок посмотрел на меня поверх стакана долго, прикидывая, сколько мне налить. Налил себе.

— А ты и не обижай, раз никого нет. — Он выпил, крякнул и поставил стакан обратно на заплатку. — Никого нет, и не обижай. Проще простого.

Ушёл он, когда в бутылке стало на треть меньше, а небо не стало темнее ни на тон. Петлю на калитку надел обратно, как было. Галоши хлопали у него по пяткам в такт, трезво и деловито.

В дом я вернулся с чайником и кружкой.

На столе, на моём месте, у окна, стояла чашка из серванта, тонкая, с золотым ободком, на блюдце. Налитая до краёв. Горячая: я тронул бок пальцем и отдёрнул. Одна. Вторая тарелка стояла на полке, табуретка напротив была пустая, и в доме, кроме меня, никого не было.

На заслонке «Куплено» осталось. «Как вас зовут?» было стёрто — аккуратно, мокрой тряпкой, до чёрного железа.

Весь вечер я просидел на крыльце, у единственной двери в дом, старичок — ступенькой ниже. Мимо нас никто не проходил: ни в дом, ни из дома, ни с лестницей, ни без. Окна были закрыты, форточка за печью — в две ладони. Чашку налили, пока я сидел в трёх шагах, за стеной, а вопрос стёрли, пока я ждал на него ответа.

Соседки больше не было. Были чашка, мел, пироги, мытые кроссовки и кто-то, кто всё это делал в моём доме, не входя в дверь, знал, что чай я люблю до краёв, а имя своё говорить не хотел. И родня с изгиба, которая про это знала и ничему не удивлялась.

Бояться чашки с золотым ободком было стыдно, а пить из неё — боязно. Победило воспитание: налили — пей.

Я сел за стол перед чашкой и взял её обеими руками: пальцы у меня замёрзли, хотя в доме было жарко. И тут в стекло, прямо у моего лица, три раза стукнули костяшкой пальца, с ленцой, по-свойски. За стеклом, в белой ночи, стоял Серый, в кепке, с коробком в пальцах. Он улыбался так приветливо, что мне захотелось проверить, заперта ли дверь.

— Начальник, не спишь? — он, не зажигая, чиркнул коробком по ногтю и наклонился к самому стеклу, чтобы мне было слышно, — ты не пугайся, мы по-соседски, чисто на минуту, я только передать: утром на остановке, к первому автобусу, ты, я и пацаны, и ненадолго, по-братски. Дело есть.

Глава 3. Присмотрим

К первому автобусу я вышел с запасом, с паспортом во внутреннем кармане и письмом нотариуса в прозрачном файле. Поликлиническая привычка: опоздать не страшно, страшна очередь. Очереди не было. Светло было ещё со вчерашнего. На разворотном круге у сельпо стояла одна берёза.

В понедельник я видел павильон вечером, теперь разглядел утром. Солнце било в мозаику сбоку. На скафандре у космонавта проступили швы между плитками, корова ушла в тень, от неё остался один колос. Расписание на жестяном щите кто-то за ночь обвёл мелом покрупнее. У входа стояла урна-пингвин без головы — в понедельник её загораживал мой чемодан.

На скамейке сидели трое — на спинке, ногами на сиденье. Под каждым лежала своя кучка шелухи, самая большая — под средним. Сельпо через дорогу ещё не открылось, на двери висело «Хлеб — 7:30».

Мелкий увидел меня первым и, конечно, первым спрыгнул.

— Во, пришёл, а Серый говорил, не придёт, городские к первому автобусу не ходят, они спят, а я говорил, придёт, раз дело, — он подскочил ко мне, сунул руки в карманы, вынул, опять сунул и затараторил без вдоха: — А чё, ты ж у нас по кадрам был, начальник, тебе ж людей не учить, ты ж сразу видишь, кто правильный, а мы правильные, ну типа, мы ж не за так, мы ж за бутылку, одну, казённую, Серый сказал, больше с тебя неприлично, а меньше с городского брать, это обидеть, так Толян говорит.

Серый соскользнул со спинки на асфальт без звука, по-кошачьи, переложил коробок в нагрудный карман, застегнул клапан и развёл руками:

— Ты его не слушай, начальник, он у нас с утра заведённый, будильник у соседей за стенкой. Хотя про бутылку он верно, первым выболтал, так уж и быть. А дело простое, чисто по-соседски: ты сегодня в район, дом твой на бугре пустой, а народ у нас, это… разный. Первое: присмотрим за домом, пока ты по делам, чисто по-братски. Второе: с тебя бутылка, одна, казённая, не больше, мы ж не звери. А третье, оформляем в устной форме: по рукам? А, ну да, без рук, на словах.

Кем я работал, я здесь не говорил никому: ни Витьку, ни старичку с изгиба, ни продавщице. Что городской с Верхней ходит в мокрых кроссовках и ест пломбир у колодца, знать могли все. Что у него было до кроссовок — никто. И про район я вчера никому не говорил. Думал о нём на крыльце, над тушёнкой, про себя, а потом Серый пришёл к окну и позвал меня к первому автобусу. Спрашивать об этом троих на спинке скамейки я не собирался — спрошу вечером в сельпо, где продают всё, включая новости.

«Пока ты по делам» Серый проговорил быстрее прочего, в одно слово. Речь у него, решил я, так и устроена: где-то спотыкается, где-то бежит. Бежит там, где говорить неловко. Про бутылку он говорил медленно и с достоинством.

Предложение было, если подумать, обычное. В городе, когда уезжаешь, соседке оставляют ключ, чтобы полила цветы. Магнит ей привозят потом. Цветов у меня здесь не было, ключа от дома — тоже: дверь закрывалась на крюк изнутри и на честное слово снаружи.

Я посмотрел на всех троих по очереди, чтобы никто потом не сказал, что его тут не было.

— Договорились. Присматривайте, раз сами вызвались, только в дом не заходить ни под каким видом, а бутылку получите вечером, когда вернусь и увижу, что всё на месте. Руки жать не будем, я ещё не проснулся.

Серый протянул было ладонь, вспомнил, вздохнул на неё и убрал в карман, зато кивнул — серьёзно, с расстановкой, за рукопожатие.

Толян слез со спинки последним, сплюнул шелуху и сказал в сторону сельпо:

— Значит, так: мел у Гали возьмём, и всё.

И пошёл через дорогу. Мелкий побежал за ним, на ходу доставая что-то из кармана штанов.

Пустой ПАЗ пришёл и встал у павильона, не глуша мотор. Рядом с картонкой «Водитель Глушков В. С.» за лобовым стеклом теперь висел на скотче детский рисунок фломастерами: жёлтый квадратный автобус с круглыми фарами, над ним торт со свечками и крупно — «ДЕДУЛЕ», первая «Е» задом наперёд. Валерий Степанович взял у меня деньги, отсчитал сдачу и кивнул на рисунок, сияя:

— Видал? Сама! Семь свечек, все семь, можешь пересчитать, ни одной не забыла. Ночью, говорит, рисовала, чтоб к утру успеть, «Е» задом наперёд, а мне и так понятно. А ты выскакивал ночью-то, на бугре, или крепкий попался? — Не отлепляя скотч, он погладил рисунок пальцем и уже в зеркало хитро прищурился на меня.

— Выскакивал, в трусах и в кроссовках, и потом смеялся на всё крыльцо, так что ваш товарняк пришёл минута в минуту, можете ему передать, — признался я.

— Все выскакивают! Все до одного, в первую же ночь, а кто во вторую, тот уже в штанах. — Валерий Степанович победно показал рисунку большой палец и закрыл дверь.

Место я занял у окна, со стороны сельпо. Толян стоял у побелённой стены слева от крыльца и выводил мелом печатные буквы, каждую отдельно, с нажимом. Мелкий прыгал рядом и диктовал, тыча пальцем. Серый крикнул им с остановки что-то про воскресенье — из-за мотора я не разобрал. Толян, стоя к автобусу спиной, дописал ещё строчку.

Когда ПАЗ тронулся, я прочитал:

«ГОРОДСКОЙ — СБЕЖИТ.

М. — до пт.

С. — до вс.

Т. — поглядим.

На гематоген».

Я даже не обиделся. Уезжать я и так собирался — осенью, после сделки, спокойно, с деньгами за дом и бумагами на руках. По моему счёту, проигрывали все трое.

ПАЗ вывернул с круга на бетонку, надпись осталась за спиной. На повороте у леса села бабка с ящиком рассады, за ней ещё бабки с сумками на колёсиках, а у развилки — две женщины в панамах, по виду санаторские: загорелые ровно до рукава и с таким лицом, будто автобус тоже входит в путёвку. У одной на коленях была дорожная сумка на молнии, и молния была застёгнута не до конца. Все, кто набрался в автобус к Краснобойску, знали друг друга в лицо. Не знали только меня.

Бабка с рассадой села рядом со мной, потому что рядом со мной было свободно. Плащ на ней был серый, платок тёплый, хотя день обещал жару. На коленях она держала ящик из-под яблок, а в нём — помидорную рассаду в стаканчиках из-под сметаны, по четыре в ряд. Рассада была крепкая, тёмная, с горьким помидорным запахом.

— Давайте ящик под сиденье поставим, у ног, а то вам всю дорогу на весу держать, — я уже подвинул было свою сумку.

— Нет, сынок, на полу дует, — бабка, не спуская ящик с колен, поправила крайний стаканчик, как поправляют одеяло, — это я Коле своему везу, на кладбище в районе, он у меня помидоры любил, всё говорил, давай, Клава, помидоры посадим, а я ему: огурцы, огурцы, от огурцов толку больше, а теперь вот вожу, третий год, сажаю, а они у него растут, лучше, чем у меня на огороде растут, а на полу им дует.

На каждой кочке она приподнимала ящик на вытянутых руках. Бабка через проход — болоньевая куртка, сумка на колёсиках между колен — долго на это смотрела и не вытерпела:

— Клавдия, опусти ты его. Руки оттянешь. Никуда твои помидоры не денутся, — она выставила над проходом обе крупные руки в кольцах и пошевелила пальцами: — Во! Третий год сумку на колёсах вожу, и руки как у молодой.

— Руки у меня свои, Зинаида, что хочу, то и оттягиваю, — Клавдия Петровна на следующей кочке подняла ящик ещё выше, назло, — а ты свои на картошку береги, у тебя её сорок соток, а у меня один Коля.

На следующей кочке я подставил ладонь под угол ящика, со своей стороны. Клавдия Петровна посмотрела на мою ладонь строго, поджав губы, но убрать не велела. До самого бычьего кольца мы везли Колины помидоры вдвоём.

У санаторских тем временем шёл свой спор — вполголоса, но на весь автобус. Сумка на коленях у той, что в панаме в горошек, шевелилась.

— Жужа, лежать, — сказала она в сумку и тут же подруге, другим голосом: — И не смотри на меня так, Тамара. Она у меня грелка. Я её так с первого дня и вожу: грелка в сумке, всем хорошо, и сестра-хозяйка ни разу не спросила.

— Грелка твоя, Люба, у меня вчера котлету с тарелки съела, — та, что в белой панаме, сдвинула её на ухо, чтобы освободить его для спора, — а в столовой написано: с животными нельзя. И я теперь не знаю, кого мне жалеть: тебя, грелку или котлету.

— Котлета была твоя, а колено моё, — Люба положила ладонь на сумку, и сумка затихла. — Мне её врач велел. Ложится на колено, греет, и я сплю. А от твоих таблеток я не сплю, я от них только хожу, по расписанию, как у них там всё.

— Собаку в сумке возить! — Зинаида развернулась через проход вместе с сумкой на колёсиках и постучала кольцом по поручню. — У меня кот сорок соток пешком обходит, никто его не греет, спит где хочет, и давление у него как у космонавта.

Автобус слушал с интересом. Водитель — нет. Из щёлки молнии на Зинаиду посмотрел один глаз, чёрный и обиженный.

Потом в окне встали трубы — две, белые с красными полосками. Ветер дул с юга, дым из труб шёл по линейке. Тем же ветром принесло запах, плотный, столовский: бульон на всю смену. Бабки в ПАЗе его не заметили. Санаторские закрыли форточку. Сумка у Любы заскулила, тонко, по-щенячьи, и полезла с колен вниз, под сиденье, где дует.

— Она у меня всегда так, на этом месте, — Люба держала сумку обеими руками, как Клавдия ящик. — Врач говорит: нервы. А я говорю: нюх.

На въездном кольце стоял бронзовый бык с голубыми рогами. Надпись на постаменте я прочесть не успел. Бык проверял у въезжающих, зачем они приехали. Меня он, кажется, не пропустил: смотрел вслед.

В Краснобойск мы пришли рано. До нотариуса оставалось время и целый город, который жил комбинатом и этого не скрывал. Через главную улицу над входом в администрацию висела растяжка «Мясо — это жизнь». У кассы в столовой при автостанции вместо жвачки стоял гематоген «Иванушка», мальчик в картузе на каждой плитке, а котлета в столовой была такая, что растяжке верилось.

Телефон в Краснобойске очнулся и, почуяв полную связь, вывалил на меня всё, что копилось с понедельника: прогноз погоды на прошлую субботу, скидку в аптеке, куда я больше не пойду, и чат старого отдела. Там Светлана Игоревна Пахомова — место у окна, цветы на всех — выложила фотографию: картонная коробка из-под торта, в ней крошки и один кусок с розочкой. «Олег Петрович, с днём рождения ещё раз! Спасибо всем, было вкусно!» Под этим стояли сердечки, по одному на каждого, кто ел. Одного не хватало, и этого никто не заметил.

Телефон ушёл в карман и тут же вернулся: раз уж есть связь, я открыл объявления. Студия, свой санузел, до метро на автобусе, не дальше. Студий было много, по моим деньгам — ни одной. Прикинув первый взнос, я открыл продажу домов в районе. За дом вроде моего давали немногим больше, чем стоил балкон той студии.

Я закрыл объявления и пошёл смотреть на быка.

У автостанции стоял белый междугородний с тонированными окнами и табличкой за стеклом: «Краснобойск — Санкт-Петербург». Водитель протирал зеркало тряпкой, пассажиры

курили у багажного отсека, одна женщина уже спала внутри, щекой на стекле. Билет стоил дешевле казённой бутылки, за которой я сюда приехал. Сесть — и к вечеру я был бы на Ржевке, в однушке, а Мелкий выиграл бы свой гематоген раньше пятницы.

На Ржевке меня ждал холодильник. А в Пропадине у меня был дом, где мне наливали чай. Наливал кто-то, кого я не знал и соседкой уже не называл даже про себя. Но чай был горячий, а холодильник на Ржевке — чужой. Я убрал телефон и пошёл на Советскую.

Нотариус сидела на Советской, в деревянном доме с резным карнизом. На дубовой двери висела табличка: «Нотариус Погодина Римма Аркадьевна. Приём с 10 до 17». Старый коммунальный звонок с кнопкой задребезжал где-то в глубине дома. В приёмной стоял фикус в кадке, а на стене висел прошлогодний календарь, открытый на июне: хоть месяц совпадал.

Римма Аркадьевна, женщина лет шестидесяти в вязаной кофте, надевала очки на цепочке только для бумаг. На людей она смотрела поверх очков. Под этим взглядом рука сама тянулась за паспортом, и будь у меня мультипаспорт, я бы предъявил его.

— Гражданин Ладыгин. Наконец-то. Дело ваше у меня два года ждало. У нас не торопятся, мы и не торопили. Но вы, я вижу, тоже не спешили: письмо-то вам ещё в марте ушло. — Она взяла мой паспорт за уголок и сверила фотографию с лицом, лицо с фотографией, а потом ещё раз лицо.

— Письмо пришло, только я его сначала прочитал не так. Думал, реклама: «наследство», «прадед», «явиться с паспортом», мне таких штук пять в год приходит, только там ещё просят перевести пошлину. — Я положил на стол её письмо, так и не вынув из прозрачного файла.

— Все так думают. — Римма Аркадьевна подвинула ко мне стопку бумаг. — Про родство не рассказывайте. Всё, что надо, мы запросили сами: времени, как видите, было достаточно. — Она постучала ногтем по стопке. — Два года. А срок ваш считается с марта, с письма. Успели, даже с запасом.

Бумаги у неё были готовы все, вплоть до архивной справки, на которой печать и чайный круг спорили, кто круглее. Мне оставалось подписать заявление. Я подписал там, где карандашом стояли галочки, не читая, как подписывают согласие на обработку данных ради пароля от интернета в кафе.

Потом Римма Аркадьевна достала печать, подышала на неё и приложила — с нажимом, в два счёта.

— Свидетельство будет через неделю. Пришлём его не почтой, а в пункт выдачи: у вас в Пропадине при сельпо пункт. Мы теперь так со всеми сёлами, гражданин Ладыгин, мы тоже люди, нам тоже надо, чтобы дошло. А справку об адресе возьмёте в поселении. Адрес у вас в реестре не присвоен, там «строение без номера», это к поселению, не ко мне. — Она сняла очки и отпустила их на цепочку.

Наследство через маркетплейс — это было что-то новое, зато удобное: пункт при сельпо в десяти минутах от дома. Через неделю так через неделю.

— А участок у вас, между прочим, перспективный, — Римма Аркадьевна уже складывала бумаги в папку и сказала это вдогонку, когда я взялся за ручку двери, — о нём уже спрашивали.

— Кто спрашивал? Мне ведь его продавать, так что, если это покупатель, я бы ему и сам позвонил, без посредников, — остановился я в дверях, раз уж меня там застали.

Она посмотрела на меня поверх очков, которых на ней уже не было.

— Этого я вам сказать не могу.

Не «не знаю», а «не могу». Но слово «перспективный» мне понравилось больше, чем не понравилось остальное. Перспективный — значит, продам дороже. Студия от этого слова стала на одну остановку ближе к метро.

Казённую бутылку с маркой я нашёл в «Пятёрочке» при торговом центре «Колос», на нижней полке. Кассирша пробила её вместе с гематогеном, которого я не брал, — в Красно-

бойске его пробивают всем вместо пакета. Полдня ушло на город, где всё было в одном экземпляре, включая быка. К вечернему ПАЗу я пришёл заранее, по утренней привычке.

— Все задула! С одного раза! Запасную свечку в бардачок, на следующий год, восемь будет, — доложил мне Валерий Степанович вместо «здравствуйте», отсчитывая сдачу.

Клавдия Петровна ехала обратно тем же рейсом. Пустой ящик со следами земли по углам она держала на коленях обеими руками, как утром. В углу стоял один стаканчик — самый маленький, с кривым стеблем.

— Этот не влез, у Коли там тесно, я ему и так в два ряда, — заметив, что я смотрю, она заслонила ладонью кривой стебелёк, — а этот себе посажу, у крыльца, пусть растёт, и посмотрим, у кого лучше вырастет, у меня или у него, он-то всегда говорил… он и сейчас сказал бы, что у меня рука не та.

Всю дорогу она ехала, обняв пустой ящик. Вышла раньше меня, на повороте без всякой остановки: Валерий Степанович притормозил ей сам, без просьбы.

В Пропадино мы пришли вечером, которого не было: солнце стояло над санаторием по-утреннему высоко. Сельпо ещё работало, и я зашёл спросить.

Продавщица сидела, где сидела, щёлкая счётами над тетрадкой в клеёнке. Пустые руки я положил на прилавок, чтобы было понятно, что я не за хлебом.

— Откуда у вас на остановке знают, кем я работал? Я этого здесь никому не говорил, ни вам, ни Витьку, а утром мне это выкладывают, как прогноз погоды. — Я постучал пальцем по прилавку. — Хочу понять: это село такое или кто-то мне в карман заглядывает?

— Я вам не адресный стол, молодой человек, я не нанималась про всех помнить. Пункт выдачи, вот он всё знает: кому что шлют, откуда, от кого, какая на коробке наклейка. Его и спрашивайте. — Продавщица кивнула на дверь в пристройку, где на стеллаже мигал роутер. Щёлкнула костяшкой. — А черти ваши на гематоген спорят, так вы им не мешайте. Гематоген у меня есть.

Чертями тут звали всю ватагу разом, по цвету формы, как футбольную команду. Прозвище им шло. Роутер в пристройке мигал и молчал. Посылок сюда мне не приходило ни одной, ни с работы, ни с Ржевки: всё своё из отдела, кружку и зарядку, я унёс в последний день в рюкзаке. Продавщица это знала не хуже меня — потому и говорила с дверью в пристройку, а счёты у неё молчали. Врала она плохо, для человека за прилавком — удивительно плохо. Значит, наклейка ни при чём, а откуда про меня знают — пока не скажут.

— А бутылку вы зря в районе брали. — Продавщица, не вставая, переставила с верхней полки банку огурцов на среднюю, для порядка. — У нас такая же. Её вон тот берёт, который «Беломор» и две таких по пятницам. А он в водке понимает, не то что два пломбира. Только у нас честнее.

Откуда она знает про бутылку, спрашивать было глупо: пакет у меня был прозрачный.

В гору ноги несли сами: за день на краснобойском асфальте они соскучились по гравию. Калитка была закрыта, петля на месте. На ступеньках моего крыльца, спиной к улице, лицом к двери, сидели в ряд трое и смотрели на дом, не отрываясь.

Мелкий обернулся на скрип калитки и радостно замахал обеими руками. Серый кивнул. Толян смотрел на дом — он был на работе.

Дом стоял. Окна целые, дверь закрыта, крюк на месте. Заглядывая под окна, я обошёл дом кругом и за сараем остановился.

Малину вдоль забора обобрали — аккуратно, куст за кустом, ни одной ветки не сломав. Утром ягоды на ней были зелёные, твёрдые, с горошину. Листья остались все. Ягод не осталось ни одной.

Серый уже стоял у угла сарая. Как он подошёл, я не слышал.

— Это мы, начальник, чтоб не украли. Первое: народ у нас разный. Второе: малина у тебя крайняя, к улице, её б к обеду пацаны с Нижнего обнесли, у них на малину глаз злой. А

так, вот она, вся целая, в кульке на крыльце, присмотрели. А что пацаны пробовали, так это не брали: это в рот, а не в карман, по договору можно.

Кулёк стоял на верхней ступеньке, рядом с Толяном: зелёные ягоды холмиком, ни одной раздавленной.

У забора я прокрутил утренний разговор. Про малину я не сказал ни слова: в голову не пришло, что про малину надо говорить. А «пока ты по делам»… На этом месте я остановился. Я услышал «пока ты в районе». Серый сказал «по делам». А дела у меня — свидетельство через неделю, дом, который ещё не совсем мой — кончаться не собирались.

Я и сам сегодня утром подписал у нотариуса три листа по карандашным галочкам, не читая. Здесь читали. И не смысл — буквы.

С этим я и вернулся к крыльцу, снял с плеча пакет с бутылкой и поставил его на нижнюю ступеньку, у ног Толяна. Мелкий потянулся к пакету, Толян, глядя на дом, положил ему руку на колено, и Мелкий передумал.

— Давайте так, мужики, — говорил я спокойно и смотрел на Серого: утром я договаривался с ним, а жить нам тут рядом ещё долго, — бутылку я обещал, вот она. За присмотр спасибо, дом стоит, окна целые. Но я вернулся, дела на сегодня кончились, значит, и присмотр кончился. Малину, какая осталась, не трогать: она у меня не для охраны. А в следующий раз договариваемся сразу вслух: до какого числа, что можно, что нельзя, и при свидетелях. Утром я согласился, не дослушав. Больше не буду: дослушивать у вас, я смотрю, надо до последней буквы.

Склонив голову набок, Серый слушал и вежливо кивал на каждом пункте. Потом погонял коробок по костяшкам, спрятал его в кулак и начал загибать пальцы свободной рукой.

— Первое, начальник, малины у тебя не осталось, ни ягодки, так что трогать нечего, и пункт этот пустой, чисто по-братски, я его вычёркиваю, — он загнул палец и, не останавливаясь, загнул второй, — второе, свидетели: свидетель у нас один, вон он, Мелкий, а Мелкий у нас свидетель такой, что лучше без свидетелей, ты его сам слышал. А третье: оговорено «пока ты по делам», а дела у тебя, согласно описи, какие утром были, такие и вечером: свидетельство где? через неделю. Вот через неделю и поглядим, а может, и не через неделю, это уж как твой нотариус.

Сказал он это с удовольствием и кивнул мне уже иначе, чем утром, — как человеку, сдавшему зачёт, о котором его не предупредили.

— Бутылку забирайте, она ваша по уговору. — Я придвинул пакет ногой к самым кроссовкам Толяна. — А про «дела» так: я вам говорил про поездку, а вы теперь присматривать собрались, пока у меня дела. Дела у меня, мужики, до пенсии. Вы серьёзно?

— Серьёзно, начальник, — сказал Серый, впервые за день без «по-братски».

Толян заговорил с верхней ступеньки, лицом к дому. Все сразу замолчали, даже Мелкий:

— Значит, так, начальник, присматриваем, пока по делам, бутылка уплачена, малина по договору, в дом не лезли и не полезем, и всё. Оговорено.

После «и всё» спорить было не о чем.

— Про срок мы с вами ещё поговорим, — я поднялся на ступеньку, чтобы Толяну пришлось на меня посмотреть; он не посмотрел, — на трезвую голову и при свидетелях получше Мелкого. И договариваться будем моими словами. Я здесь живу, мужики, торопиться мне некуда. Я, как у вас говорят, погляжу.

Мелкий весь разговор ёрзал и тянул руку, хотя его не спрашивали. Наконец он не выдержал — вскочил со ступеньки и взмахнул руками:

— Да ты не боись, начальник, мы ж не бросим, мы ж присмотрим, мы ж, пока дела не кончатся, тут будем, а у тебя они, ну типа, не кончатся, у городских они ж никогда не кон…

Тут Мелкий сам услышал, что говорит, зажал рот обеими ладонями и покраснел до ушей. Потом с разбегу взлетел на перила крыльца, прошёлся по ним, раскинув руки, и спрыгнул через мою голову в траву.

Приземлился он на обе ноги. Левая кроссовка слетела и отлетела в крапиву у забора.

Под ней было копыто.

Раздвоенное, тёмное — то самое, что вчера я списал на недосып и на фантик, только теперь с пучком белой шерсти у края. Но этой ночью я спал до будильника, даже товарняк не разбудил, а сейчас, светлым вечером, я смотрел прямо на него. Я моргнул. Копыто осталось.

Мелкий доковылял до крапивы, выудил кроссовку за шнурок, сел прямо в траву и стал обуваться — медленно, со вкусом, глядя на меня снизу вверх.

— Чё, копыт не видел, городской? — он затянул шнурок бантиком и притопнул, проверяя, как сидит. — Ну, привыкай.

Глава 4. Мокрый подол

Мелкий вернулся на ступеньку к своим. Я прошёл между ними в дом и заложил дверь на крюк. Трое остались на крыльце, по ту сторону двери.

Ночь я просидел за столом. Соседки не было ещё со вторника, с чашки, а теперь не стало и недосыпа, и фантика. Осталось то, что есть: у Мелкого копыто; в доме кто-то живёт, в дверь не ходит и кормит; меня пока никто не тронул. Последнее нравилось мне больше всего, и я сказал его ежу вслух. Ёж не возражал.

Бежать было некуда — разве что обратно на Ржевку, к чужому холодильнику, — и не от кого, кроме тех, кто меня кормит. Уснул к рассвету. Ёж, по-моему, тоже.

Утром кроссовки оказались в лопухах.

Не у крыльца, куда их мог бы сдуть ветер, умей здешний ветер поднимать обувь сорок третьего размера, а за сараем, в самой гуще, где лопухи вымахали мне по грудь и лист у каждого был с банный таз. Стояли они там пара к паре, носками к забору. Внутри была роса. Во вторник их выставили на крыльцо и налили воды. Сегодня отнесли дальше.

У порога, на половике, где кроссовки стояли вечером, теперь стояли сапоги. Резиновые, чёрные, старые, с красной подкладкой, вылезавшей из голенища, и с велосипедной заплаткой на левой пятке. Я примерил. Они сели как свои, с запасом на шерстяной носок.

В сапогах я вышел на крыльцо — проверить, как ходится. На ступеньках сидели трое, с газетой и горкой семечек посередине: присматривали.

Смотрел на них теперь с ног. Три пары кроссовок с тремя полосками, большие, мятые в носке, стояли на ступеньке. Ничего в них не было особенного. У Мелкого левая была завязана вчерашним бантиком. Я знал, что в ней. Испугаться так и не собрался. Обиделся — это да: вчера они сидели у меня на крыльце, ели мою малину и слушали, как я им объясняю про сроки и свидетелей. Каждый из них знал про свои кроссовки, а я один не знал.

Мелкий увидел сапоги первым.

— О, начальник в сапогах, а чё, правильно, у нас в кроссовках только городские ходят, а в сапогах свои, да Живой ещё, он с рождения в сапогах, так ты теперь, выходит, наполовину свой, по колено, а выше колена городской, — Мелкий засмеялся первым и громче всех и чуть не смахнул локтем газету, — а мы в кроссовках, потому что нам в сапогах, ну типа, копы… коленки трёт. — Он сам сунул в рот полную горсть семечек, чтобы больше ничего не сказать.

— Значит, так: сапоги по ноге, третья ступенька у тебя скрипит, по ней в сапогах ходить, а в кроссовках только сбегать, и всё, — Толян оглядел сапоги от заплатки до голенища и кивнул им, а не мне.

Тот, кто жил в доме, мыл пол, пёк пироги, писал мелом на заслонке и имел мнение о моей обуви, причём твёрдое.

Зеркало в сенях висело лицом к стене. Вечером оно висело как положено. Теперь на меня смотрела фанерная спинка с гвоздиком и паутиной в углу. Я перевернул зеркало обратно. Из него на меня посмотрел небритый человек в сапогах на босу ногу. Помахал ему — он помахал в ответ, вовремя.

На столе под полотенцем стоял пирог. Я стоял босиком: сапоги остались у порога, тапок у меня так и не завелось. Пирог, похоже, это устроило. С капустой, тёплый. Первый кусок съел стоя, по-воровски, пока хозяева не видят.

— Спасибо, вкусно, честное слово, лучше, чем в столовой у комбината, а там котлеты такие, что им растяжки вешают, — сказал я в сторону печи, дожёвывая.

Печь промолчала.

Потом я вытряхнул из кроссовок росу и надел их из принципа. До обеда я чинил калитку: верхняя петля держалась на одном гвозде. Стол, когда я зашёл в дом за молотком, в кроссовках, был пустой. Ни пирога, ни полотенца, ни крошки на клеёнке.

До вечера стол так и простоял пустым. Макароны с тушёнкой я ел на крыльце. Меня оставили без сладкого. Кроссовки к вечеру натёрли пятку, я снял их на крыльце, зашёл в дом босиком — и остановился в дверях.

Пирог стоял на столе. Тот же, с капустой, без одного куска, под тем же полотенцем. Рядом лежал нож, которого утром не было.

Я вышел в сени, надел кроссовки и вернулся. Полотенце лежало на клеёнке плоско: под ним ничего не было. Я вышел, снял кроссовки и вошёл снова. Пирог стоял. Нож лежал.

Это было почти честно: правило одно и работает каждый раз.

Ночью ёж опять пришёл на подушку. Я переложил его в ноги, он вернулся. Переложил ещё раз — он вернулся. Уже не свернулся, а лёг вдоль, во всю длину подушки. Колючки у него были не страшные, но их было много. Все они были у моего уха. К двум часам я встал, вырвал лист из тетради, купленной в Краснобойске, и написал крупно, печатными буквами, чтобы не было разночтений:

«Давайте так: кухня ваша, кровать моя, ёж, по договорённости».

Лист оставил на столе, придавив солонкой от сквозняка. Ёж досыпал на моей подушке, я — на краю. К утру мы оба делали вид, что так и договаривались.

Утром записка лежала в печи. Печь со вчерашнего никто не топил — в июне её топят, только когда пекут, — но на колосниках лежал свёрнутый чёрный лист. На нём ещё читалось «по дог». Остальное стало пеплом. У печки, там, где я в первый вечер ставил ежу таз, стояло блюдце с голубой каёмкой, вылизанное до блеска. Ёж сидел рядом, умывался и на меня не смотрел.

Зеркало в сенях опять висело лицом к стене. А на заслонке, мелом, теми же круглыми буквами, было написано: «калитка, ладно».

Кухню делить никто не собирался, а ёж ни с кем ни о чём не договаривается, у ежа блюдце. Я сел на табуретку посреди кухни, лицом к печи, — говорить.

— Раз бумаге вы не верите, скажу словами, — я говорил спокойно и медленно, чтобы каждое слово успело дойти до печи и не отскочило от заслонки, — как у вас тут заведено, я ломать не собираюсь. Разуваюсь у порога, это правильно, я и в городе разувался. Ваши сапоги ношу во двор, спасибо за них, сели как свои. Зеркало пусть смотрит в стену, раз вам так спокойнее, побреюсь и по телефону.

Печь слушала. Во всяком случае, не перебивала.

— Но и у меня условия. Кроссовки мои в лопухи больше не носить, они у меня одни, а до ближайшего обувного час на ПАЗе. Ёж ваш, я понял, блюдце видел, спорить не буду, только пусть спит в ногах, а не на подушке: я две ночи сплю на краю, с ежом у уха. Мука, дрожжи и дрова с меня, тут даже не спорьте. Дом этот я, может, осенью и продам, но до осени жить в нём хочу по-людски, а не как в общежитии, где воюют за конфорку. Хорошо бы ещё знать, с кем я договариваюсь, но этот пункт, чувствую, не для первого собрания, так что скажете хотя бы, как вас зовут, будет совсем хорошо.

Никто не ответил. Ёж закончил умываться и ушёл за печь, проходя мимо моей ноги так близко, что я почувствовал колючки через штанину. Может, это было «да». Может, «посмотрим».

В сапогах я вышел во двор умыться из бочки. Когда трое на ступеньках подвинулись, пропуская меня, Серый сообщил мне в спину:

— Вода нынче тёплая, начальник, мы проверяли, по описи. Первое: бочка одна, вода в ней одна, температура по сезону, чисто по-братски, — Серый показал на мокрый до локтя

рукав Мелкого. — Второе: если захочешь, чтоб к утру была горячая, так это мы можем, это недорого, это даже не бутылка, этотакпомелочипотомсочтёмся. А третье: полотенце своё неси, полотенце мы не проверяли.

— Потом не сочтёмся, «потом» у вас, я смотрю, самое дорогое слово. — Я умылся из бочки и вытер лицо рукавом.

Серый обрадовался так, будто я заплатил.

— А чё, она правда тёплая, я до локтя мерил, ну типа, как градусник, а Толян вообще одним пальцем мерит, ему до локтя не на… — Мелкий поймал взгляд Толяна и принялся отжимать рукав над ступенькой.

Вода в бочке и правда нагрелась за ночь от стенки сарая и пахла деревом. Я постоял, посмотрел на солнце над санаторием — этой ночью оно так и не нашло, куда сесть, — и вернулся. Сапоги снял у порога и поставил носками к выходу, рядом с кроссовками.

Кроссовки стояли у порога. Сухие, чистые, шнурки завязаны витринными бантиками.

На столе под полотенцем был пирог, новый, с яйцом и луком. Рядом — кружка с чаем, горячая, хотя самовара в доме не было, а чайник я не ставил.

Три куска спустя я надел джинсы и застегнул ремень. Язычок пряжки прошёл мимо привычной дырки и встал в следующую — нетронутую, круглую, новенькую, хотя ремень переехал со мной три квартиры и ни разу не подводил. Пироги.

— В среду свидетельство, а там и прописка, и тогда я здесь уже не гость, а жилец, и спорить со мной про обувь будет сложнее. А если вы меня откармливаете, как в сказке, то зря: печь у вас русская, но я в неё не полезу, я в ФАП. Спасибо за чай, — сказал я в сторону печи, застёгивая рубашку поверх пирогов.

За печью звякнула заслонка. Одна, негромко. Я решил считать, что это «иди».

ФАП стоял на Центральной, между школой и клубом, через дорогу от обелиска. Обшит бежевым сайдингом, крыльцо новое, с пандусом, по которому, пока я поднимался, сбежала вниз чья-то курица, — единственный, кто этим пандусом пользовался. На стене две таблички: «Фельдшерско-акушерский пункт» и поменьше: «Фельдшер Полынова А. С.». Под окном грядка, на колышке надпись: «Аптекарский огород».

В тамбуре стояло ведро с бахилами. Бахилы были одни на всех: я надел пару, ещё тёплую от предыдущего пациента.

В приёмной на трёх стульях сидели трое: два старика в пиджаках, несмотря на июнь, и старушка с сумкой на коленях.

— Проходи, городской, мы не в очереди, мы так, посидеть. Тут прохладно, а дома у меня жена. Нам с ним давление хоть меряй, хоть не меряй, от сидения оно не меняется, а у тебя вид такой, что лучше первым, пока не упал. — Пропуская меня, старик в сером пиджаке подобрал ноги и толкнул второго локтем.

Второй старик кивнул, соглашаясь со всем сразу, а старушка поправила на коленях сумку и сказала: «Иди, иди, сынок».

В кабинете пахло мятой, хлоркой и ещё чем-то горьким, как от веника в бане. Кушетка под клеёнкой, ширма, весы с ростомером, шкаф. Шкаф был один, но жил двумя жизнями: слева на полках лежали блистеры и ампулы, по алфавиту, а справа — холщовые мешочки и банки с бумажными ярлыками, исписанными мелким почерком.

Фельдшер сидела за столом и писала. Рослая, строгая, лет тридцати, в халате поверх свитера, коса убрана под колпак, очки на цепочке. Такие же были позавчера у нотариуса. Там очки говорили «паспорт предъявите», здесь — «покажите язык».

Не спросив фамилии, Алевтина Сергеевна вынула из стопки карточку и раскрыла её посередине, где уже что-то было записано.

— Садитесь, молодой человек, на стул, не на кушетку: кушетка у нас для тех, кому хуже. Пришли вы в пятницу, а не в понедельник, значит, терпели, и терпели, я думаю, не меньше двух ночей. Жалуйтесь сразу с третьей, первые две по вам и так видно.

Карточка была моя: фамилия на обложке, внутри две строчки по датам, её почерком. Вверх ногами я их прочитать не успел.

— Двух, угадали: вторую ночь подряд не сплю. В доме ёж, считает мою подушку своей, я его в ноги, он обратно, и вообще-то это соседский конфликт, а не болезнь, только соседа у меня, выходит, нет, а спать надо. — Я сел на стул, как велели.

Про пироги я рассказывать не стал. Алевтина Сергеевна писала и кивала, словно сверяла мой рассказ с тем, что у неё уже записано.

— Работаете где? Это не любопытство, это графа такая. — Ручка повисла над карточкой.

— Работал в кадрах, теперь не работаю, так что режим у меня свободный, а сон почему-то нет.

Она записала это в столбик, к температуре.

— Раздевайтесь до пояса и не краснейте, молодой человек, — она сдвинула очки на кончик носа и приложила холодный кружок фонендоскопа мне под лопатку, так что я вздрогнул, а она нет. — Я вас насквозь вижу, и это не метафора, а поскольку спите вы плохо, едите, судя по языку, чужие пироги, а живёте в доме, где хозяйка вас пока не любит, диагноз у нас один: городской.

— А про хозяйку вы откуда знаете, Алевтина Сергеевна? Я вам про неё ни слова не сказал, ни про пироги, ни про печь, — сказал я в стену: лицом меня развернули к стене.

— Вдохните, молодой человек, и не дышите, — она переставила кружок пониже, холод пошёл вдоль позвоночника, — а кто не дышит, тот и не разговаривает, это у меня правило кабинета, в связи с чем вопрос ваш я записала и отвечу на него, когда задышите. Дышите.

Я задышал. Ответа так и не было. Алевтина Сергеевна только скрипнула ручкой по карточке ещё раз и кивнула на весы:

— Вставайте, посмотрим, во что вам обходится бессонница.

На весы я встал как был, раздетый по пояс, в джинсах и бахилах.

— Ремень у вас на новой дырке, молодой человек. Во-первых, дырка ещё круглая, не разношенная. Во-вторых, ремни у мужчин за неделю не садятся, значит, прибавка у вас килограмма два: пироги рекомендую до обеда, а не на ночь. В-третьих, адрес у вас какой? — Она сдвинула гирьку на планке и прищурилась на неё.

— Верхняя, один, крайний дом, у кладбища, — сказал я с весов.

Ручка остановилась. Алевтина Сергеевна сняла очки. Они повисли на цепочке, покачиваясь. Посмотрела она на меня по-другому: так смотрят на квартиру из объявления, если сами когда-то в ней жили.

— Такие дома родную кровь зовут, — сказала она буднично, в тон пирогам, тут же надела мне на руку манжету тонометра и накачала грушей, — давление у вас хорошее, для человека, который две ночи спит с ежом, даже отличное, а бессонница, это у нас сезонное, в связи с белыми ночами, у приезжих особенно.

Манжета сжала руку так, что думать стало некогда, но одно слово успело — «зовут». Прадеда я ни разу не видел, даже на фотографии. В конце мая я дочитал письмо нотариуса до печати. Меня потянуло — тогда я списал это на усталость и дешёвое жильё. Фельдшер говорила об этом, как о записанном у меня в карточке: потянуло.

Тонометр щёлкнул, фельдшер сказала «угу» и стала писать. Писала она дольше, чем я рассказывал. Раздетый до пояса, я ждал.

Потом она встала, сняла с правой стороны шкафа банку с ярлыком «От бессонницы. Городским — двойная» и отсыпала в бумажный кулёк две ложки с горкой. Из левой стороны достала блистер самых обычных, аптечных витаминов и положила рядом, для порядка.

— Сбор заваривайте ложку на стакан, вам две, настаивайте под блюдцем, пейте на ночь, повернувшись против солнца, — она выписывала рецепт мелким почерком. Только по тому, как сильно она давила на ручку, было видно, что это не совсем рецепт. — Витамины по одной после завтрака. А если не поможет, придёте на повторный приём, вечером, после шести, когда все разойдутся. Я записала.

— А против солнца, это как, если солнце у вас тут всю ночь то над санаторием, то над кладбищем? — спросил я, застёгивая рубашку.

— Против часовой. За сбор двести рублей, витамины и приём бесплатно, вы не в городе, у нас за разговор денег не берут. — Алевтина Сергеевна не улыбнулась, только придвинула ко мне кулёк.

С кульком и рецептом я повернулся к двери. В дверях стояла старушка.

Маленькая, в мужском пиджаке с закатанными рукавами, в платке, завязанном сзади, по-рабочему, и с картонной коробкой в руках. В коробке стояли молочные пакеты, разрезанные вдоль, а в пакетах — земля и зелёные пеньки, аккуратные, как после стрижки под машинку. Она меня разглядывала — снизу вверх, от кроссовок до макушки, медленно.

— Не женат? — старушка перехватила коробку поудобнее и загородила проход целиком, хотя была мне по плечо. — Вижу, что не женат. У женатых глаз не такой, у женатых глаз усталый, а у тебя пока просто сонный. Сонный глаз, я ж вижу, это сглазили, не к добру. Так ты, городской, три раза плюнь через левое, от сглазу. Сбор её пей, не отплёвывайся: она у меня травы сама собирает, по росе, до петухов. К субботе будешь как новенький. Алевтину не обходи: при фельдшере не пропадёшь. А я вот вовремя не плюнула, и вот, одна, с рассадой.

— Тётя, в дверях не стойте, вы мне сквозняк делаете, а у меня пациенты с давлением, — Алевтина Сергеевна постучала ручкой по столу, строго, по-учительски, и ни на полтона громче, чем про витамины.

— Нюра, отойди от двери, дай человеку выйти, он и так не спавши! — крикнули из приёмной.

Баба Нюра в сторону не отошла. Она подняла коробку повыше, к самому столу, через моё плечо.

— Полюбуйся, чего Полькина коза сделала, — пеньки в пакетах качнулись, — с марта на окне стояла, капуста, поливала, разговаривала с ней, а вчера вынесла на лавку, чтоб закалялась. А с утра ещё ложка со стола упала, к гостье, я так и знала. Пришла гостья, с бородой. Вот, закалилась. А Полька говорит, коза не её, коза стадная, так я её сейчас в сельпо найду, она к хлебу пошла, я знаю, когда она к хлебу ходит.

Не попрощавшись ни со мной, ни с племянницей, она повернулась и ушла, неся коробку перед собой. Со спины она была совсем маленькая. Коробку держала ровно.

Три раза я не плюнул. Но на крыльце, где никто не видел, один раз всё-таки сплюнул через левое, просто так.

От ФАПа до сельпо было три минуты. Крыльцо сельпо стояло пустое, только у ступенек лежала горка шелухи, а к перилам верёвкой была привязана коза. Белая, бородатая, с выражением завхоза на морде, она жевала угол таблички с режимом работы. На побелённой стене слева всё так же было написано мелом «ГОРОДСКОЙ — СБЕЖИТ», а ниже «М. — до пт.». Была пятница: гематоген Мелкого висел на волоске.

Внутри стояла очередь человек в десять, почти одни бабки. В хвосте — Витёк, в кепке козырьком назад, с корзинкой, в которой лежал десяток яиц. Он кивнул мне и подвинулся, чтобы я встал рядом, а не за ним.

— Хлебовозка-то опять к обеду, на три часа, это ж надо, у него, говорят, колесо, а у меня внуки с утра без хлеба сидят, на одних блинах, — сообщила мне спина в цветастом платье,

хотя я ни о чём не спрашивал. Спина тут же развернулась лицом, чтобы проверить, как я это воспринял.

Баба Нюра была уже здесь, в середине очереди, с коробкой. Обогнала она меня непонятно как: я шёл, а она, по-моему, всё это время стояла. Напротив неё, через две старушки, стояла другая — высокая, сухая, в плаще до пят и в галошах на шерстяной носок.

— Коза до обеда стадная, Анна Власьевна, это тебе любой скажет, до обеда она у пастуха, а у пастуха она не моя, у пастуха она общественная, — высокая говорила громко и весело, с удовольствием: разговор этот, видно, шёл у них каждый июнь, — а если рассада твоя стояла за забором, на лавке, так лавка, это улица, а на улице коза в своём праве, я, что ли, лавку ставила? А что съела, так у людей козы траву жуют, а моя у сельпо табличку доедает, с режимом работы, и хоть бы чихнула!

— Полька, лавку мой покойный отец ставил. На моей земле ставил, вся улица это знает. А твоя коза не стадная: у нас пастуха с восемьдесят девятого года нет, он в город уехал. Твоя коза сама себе пастух, ест, где хочет. Я её, выходит, с марта кормлю, через окно. — Баба Нюра переставила коробку на прилавок, прямо на весы. Весы показали что-то своё.

Очередь разделилась.

— А коза у Пелагеи Прокловны умная, умнее некоторых, она в прошлом году щеколду на курятнике открыла, сама, копытом, я своими глазами видела, — старушка в соломенной шляпе потрясла над головой пустой авоськой, уликой.

— Умная не умная, а рассада у Анны Власьевны никогда не растёт, её хоть на лавку ставь, хоть на крышу, рука у неё не садовая, у неё рука на пироги, — отозвалась стоявшая перед Витьком и поджала губы, чтобы было видно, что это комплимент.

— Так капусту в июне уже поздно высаживать, девочки, в июне её уже едят, — молодая женщина с ребёнком на руках сказала это мирно, в пространство. На неё обернулись обе сразу и так посмотрели, что она пересадила ребёнка на другую руку и добавила: — Это я так, про себя.

Про меня не вспомнил никто. В кроссовках, с кульком сбора в кармане, я стоял в очереди за хлебом и впервые с понедельника был в селе просто человеком в очереди. Это оказалось приятно.

Продавщица сидела за прилавком над счётами и в спор не вмешивалась, пока спор не дошёл до весов.

— Анна Власьевна, коробку с весов снимите. Весы у меня поверенные, а вы мне их сбиваете, — подводя черту, она щёлкнула костяшкой и, глядя на весы, подала бабке в начале очереди буханку с верхней полки. — Коза Пелагеи Прокловны, это которая гематоген с руки берёт и сдачи не ждёт. Вчера у меня тут под окном стояла. До обеда стадная она или не стадная, а капусту в обед ела. Это я вам как свидетель. Справок только не даю.

Дошла очередь до меня.

— Серого буханку и тушёнку, если осталась, — я шагнул к прилавку.

Под ногой хлюпнуло. Под прилавком, у самой её табуретки, стояла большая лужа. В ней отражалась лампа. Подол халата был мокрый, тёмный до колен и капал. Капал в лужу мерно, капля за каплей.

Она потянулась к верхней полке, не вставая.

Рука пошла вверх и не кончилась. Рукав кончился, а рука — длинная, серая, с узловатыми пальцами — шла дальше и сняла банку с полки под потолком. Из-под колпака, по спине, по табуретке, до самого пола лежали волосы. Мокрые. Концы плавали в луже.

Рука вернулась в рукав, как вода уходит в песок, — и вот уже колпак, халат, рука как рука и банка на прилавке.

Объяснения у меня кончились позавчера, у крапивы. Новых заводить было незачем. Стоял и смотрел с одной мыслью в голове, очень спокойной и очень глупой: хлеб-то я ещё не взял.

Счёты замолчали. Костяшка, которую она уже подняла, так и осталась на весу, не щёлкнув. Продавщица — она при мне ни разу не поднимала глаз от прилавка — подняла их и посмотрела не на покупателя, а на меня. Смотрела растерянно, секунду, не больше, и без злости.

Очередь за моей спиной всё ещё делила козу.

— Не пялься, Андрюха, невежливо, — Витёк сказал это вполголоса, не повернув головы, глядя в свою корзинку, будто говорил с яйцами. Переложил корзинку в другую руку. — Человек на работе, у неё очередь до двери, а ты стоишь, как на экскурсии, плати давай, и пошли, я на улице.

Я заплатил. Глядя в счёты, она дала сдачу гематогеном и щёлкнула костяшкой, которую держала на весу. Витёк взял меня за локоть и вывел на крыльцо.

Хлеб остался на прилавке.

На крыльце было светло и пусто, только коза у перил доела табличку до слова «обед» и принялась за верёвку. Витёк поставил корзинку в коляску мотороллера, в каску, лежавшую там вверх дном. Сам сел на седло боком, лицом ко мне, для разговора.

Витёк достал из кармана семечки, посмотрел на них и убрал обратно.

— Видишь, значит, видишь, и ничего ты тут не сделаешь, и не три глаза, всё равно не сотрёшь, это как очки надел, только снять нельзя, и ты не пугайся, у нас это бывает, а у тебя, значит, началось, и ладно, и у меня вон бензин кончается, а в пятницу бензин не возят, вот это беда, а это не беда.

Я сел на ступеньку крыльца, рядом с горкой шелухи. Коза посмотрела на меня через перила с интересом, как на новую табличку.

— Витёк, только без анекдота и без бензина, ладно? — Руки я положил на колени и держал их там: им хотелось вернуться в сельпо за хлебом, или починить что-нибудь, или хотя бы почесать затылок. — Я вижу то, чего здесь быть не должно. Позавчера у крапивы: копыто у Мелкого, с шерстью. Сейчас: руку у тёти Гали, до потолка, и волосы до пола, и лужу. И мне… — я поискал слово и нашёл не то, — мне не страшно. Мне странно. Нет, вру: страшно тоже, но меньше, чем странно, и вот это меня пугает больше всего. Я хочу понять, что с этим делать: это со мной что-то, или с ними, или с селом, и кому мне это говорить: тебе, фельдшеру или сразу в район, где психиатр по вторникам?

— Почему, не скажу, — Витёк медленно покачал головой, — почему у нас никто не говорит, и я не говорю. Я раз маленький спросил, у бабки, так она меня неделю из дому не выпускала и плакала, и больше я не спрашиваю, и ты не спрашивай, и деда не спрашивай, он тебе про грибника расскажет. А как, скажу, как, это можно. Ты на людей смотри, как раньше смотрел, в лицо, в руки, на товар, а куда не надо, не смотри, под прилавок не смотри, тётя Галя стесняется, она мокрая с детства, и что, работает же, и не обвесила никого ни разу, и тебе хлеб отложит, если попросишь. И ты не показывай. Смотри, но не показывай, что смотришь. Я предупредил.

Сколько их тут таких, мокрых с детства, думать я не стал: бабки за дверью были как бабки, и слава богу.

— Понял: смотреть как раньше, не пялиться, не показывать, я так всю жизнь в городе прожил, только там это называлось «не лезь не в своё». Ты мне одно скажи, раз уж про «как» можно: она теперь знает, что я вижу? Она на меня посмотрела так, будто я у неё что-то взял без спроса, и мне теперь самому неловко, хотя взял я у неё только гематоген, и тот сдачей. — Я поднялся со ступеньки и отряхнул джинсы от шелухи, прилипшей репьём.

— Ну знает, и чего, она ж тоже не пялится, — Витёк развернул кепку козырьком вперёд и посмотрел на меня внимательно, по-другому, снизу вверх и не шутя. — А ты сам-то как, Андрюха? Нормально? Спишь? Ешь?

Последний раз меня об этом спрашивали на медосмотре, по анкете, с тремя вариантами ответа. Ёж не спрашивал, печь не спрашивала, фельдшер спросила, но записала.

— Не сплю, но ем. Пироги с капустой, с яйцом и луком, ремень на новую дырку. Хозяйка у меня, говорят, пока не любит, но кормит, а это, по-моему, лучше, чем наоборот. — Сбор зашуршал в кармане, когда я по нему хлопнул. — А от «не сплю» мне выписали, двойную, городскую.

Витёк серьёзно кивнул и перевёл взгляд на мои руки. Руки у меня были пустые: кулёк со сбором, рецепт, гематоген и банка тушёнки — всё по карманам.

— А хлеб где? — спросил он. — Тушёнку взял, а хлеб где, ты чего, тушёнку без хлеба будешь, как в армии? Иди забирай, она отложила, она всегда откладывает, если человек ушёл, и не пялься там. — Он уже взялся за руль и тут хлопнул себя по лбу: — Стой, а прописываться-то ты будешь? Тебе ж тогда ещё справка нужна, из поселения, что дом жилой и адрес у него есть, и без неё в районе с тобой и разговаривать не станут. А поселение у нас в Живино, шесть километров, и я тебя в понедельник свожу, с утра, пока там не обедают. А то в субботу бензина нет, а в воскресенье у них закрыто, у них в воскресенье даже глава не глава.

— Свози. Бензин с меня, анекдот с тебя, раз уж без них у вас тут никак, — согласился я.

Коза перегрызла верёвку, спустилась с крыльца и пошла вниз по Центральной, деловито, по своим делам. Никто за ней не побежал.

Я вернулся в сельпо. Дверь открылась без скрипа. Колокольчик над ней не звякнул: его, видимо, придержали изнутри. Спор о козе кончился, коробка бабы Нюры стояла на полу у стены, и очередь стояла тихо — тишиной людей, которые только что о чём-то договорились. Буханка серого лежала на краю прилавка, отдельно от всего, завёрнутая в бумагу.

Продавщица смотрела в счёты. Подвинула мою буханку ещё ближе к краю, ко мне, щёлкнула костяшкой и объявила в зал, на всю очередь:

— Вас много, а я одна, справок не даю, а кто про новенького спрашивал, так видит он, видит.

Очередь обернулась ко мне разом, вся, как один человек. Баба Нюра с бабой Полей — первыми, плечом к плечу.

Глава 5. Письмо комбината

До прилавка я прошёл вдоль всей очереди, взял буханку с края, сказал «спасибо» в счёты и пошёл обратно. Головы поворачивались за мной до самой двери.

Из сельпо я шёл с буханкой под мышкой через всю Центральную и пытался понять, что мне сейчас выдали вместе с хлебом. Предупредила продавщица их про меня или меня про них, я так и не решил. Решил другое, уже на бугре: спрашивать про копыта и руки у тех, у кого они есть, не буду, раз тут так не делают, а смотреть буду во все глаза — в лицо, как велел Витёк, но во все.

Дома сбор фельдшера заварил по ярлыку, двойной. Кружку на ночь выпил, повернувшись, как велели, против часовой, — ёж смотрел на это с подушки с большим сомнением. В субботу я выспался и открыл глаза, когда солнце уже перебралось с санатория на мою сторону озера. Последний раз я так спал в феврале, когда в офисе отключили отопление и всех отпустили по домам.

Ночью пошёл дождь, первый за неделю, мелкий и ровный, до самого утра. В воскресенье я вышел с кружкой на крыльцо и увидел, что на крыльце никого нет.

За три утра я привык, что утро у меня начинается с них: трое на ступеньках, газета с горкой семечек, Мелкий привстаёт, когда скрипит дверь. Теперь ступеньки были мокрые и пустые. Шелуха лежала на траве дорожкой, от крыльца через весь двор до сарая.

Дверь сарая была приоткрыта на ладонь. Из щели пахло спичками.

Они сидели внутри на ящиках: Толян посередине, на самом большом, Серый у стены, Мелкий у двери, поближе к свету. Газета с семечками лежала на перевёрнутом ведре. На гвозде, где у людей висит коса, висела гитара с изолентой на грифе. В углу с крыши капало в банку из-под краски, такую полную, что капли падали уже не в неё, а в лужу вокруг.

Серый приподнял кепку над макушкой и вернул на место.

— Ты не удивляйся, начальник, мы тут по договору, чисто по-соседски. Первое: на крыльце дует, а мы ж с ночи. Второе: с крыльца дом видно хуже, чем отсюда, а отсюда тебе двор, калитка, кто пришёл, кто ушёл, всё как на ладони. А третье: ну, дождь, по-братски, мы ж не железные.

Я поставил кружку на ящик у входа, под гитару, а сам прислонился к косяку. Сарай был мой, как и всё, что в нём и вокруг. Я в него никого не пускал. С другой стороны, про сарай в договоре не было ни слова, а в их договорах, как выяснилось в среду, самое важное — то, о чём ни слова.

— Раз уж вы у меня теперь живёте, мужики, хочу понимать, до каких пор. Из района я вернулся, в ФАП сходил, сегодня воскресенье, и никуда я не еду, ни в район, ни в город, ни на рыбалку. Какие у меня, по-вашему, дела? Я спрашиваю, чтобы знать, во сколько вам открывать.

— Первое: свидетельство, начальник, где оно, нету, в среду, говоришь, а среда, она когда ещё, — Серый загнул палец с длинным жёлтым ногтем, — второе: прописка, где она, тоже нету, а это ж район, там месяц не срок, а третье: домничейпокабумагнет, так что смотреть за ним надо вдвое, чисто по-братски, мы ж не для себя стараемся.

Третий пункт расслышал только потому, что со среды слушал Серого до последней буквы.

— Третий вычёркиваем, — я даже не стал отлипать от косяка, — дом мой, нотариус при мне поставила печать, и ничьим он не был ни дня, ни часа, ни пока вы сидели на крыльце. А первые два я и сам помню.

Серый полез за коробком, посмотрев на меня, как в среду, — очередной зачёт сдан. Толян сидел на своём ящике лицом к дому. Дождался, пока Серый чиркнет спичкой просто так, для порядка, сплюнул шелуху себе под ноги и заговорил, глядя на дом в щель двери:

— Значит, так, начальник: свидетельства нет, прописки нет, значит, ты у нас по делам, а пока по делам, присматриваем, отсюда, из сарая, и всё. Оговорено.

Я прокрутил это ещё раз, по словам. «Пока по делам». Дела у меня — бумаги: свидетельство и прописка. Кончатся бумаги — кончатся дела, а с ними и присмотр. Сказал это не я, а Толян, при свидетелях, своими словами. Выход у меня был один: оформиться быстрее, чем они тут обживутся.

— А чё, а нам тут нормально, сухо почти, — Мелкий заёрзал на ящике и подался ко мне так, что ящик под ним качнулся: — Только капает, прям Толяну за шиворот ночью капало, а Толян не встал, он же не встаёт, он так и сидел до утра, а у меня в кроссовке вода, а если б крыша рухнула, так на всех троих, а мы ж, ну типа, нам-то ничего, нас крышей не убьёшь, нас вообще мало чем убьёшь, а вот гитару жалко, гитара у нас одна.

Толян постучал Мелкого костяшкой по колену. Мелкий оглянулся на гитару с таким видом, будто это она проболталась.

— А чем убьёшь, если не секрет? — спросил я у гитары, раз Мелкий на неё оглядывался. — Мне для присмотра надо знать, чего вам в сарае не ставить.

— Первое, начальник, это не секрет, это тайна следствия, — Серый перекатил коробок с костяшки на костяшку и спрятал в кулак, — второе: смотря кто спрашивает, а ты пока спрашиваешь как жилец, бумаги-то нету, а третье: в сарае у тебя, чисто по-братски, ничего такого и нету, мы смотрели.

Я показал на банку в углу.

— Раз присматриваете, присмотрите, чтоб не рухнула. Малина, помнится, росла у дома, и за ней вы присмотрели, по договору. Сарай тоже у дома, крыша у сарая. Только за малиной вы присмотрели так, что её не осталось, а за крышей прошу присмотреть так, чтобы она осталась.

Серый открыл было рот — видимо, на «первое», — но закрыл, когда Толян шевельнулся на своём ящике.

— Сарай при доме, крыша при сарае, а стропила у тебя, начальник, ещё при прадеде повело, — Толян впервые за утро поднял на меня глаза, — рухнет, нам же на голову. Присмотрим.

В сельпо я пошёл к девяти, к открытию. Внутри стояли и говорили про козу человек шесть — баба Нюра с бидоном, баба Поля, двое мужиков с Путейской в одинаковых жилетах.

— …а к вечеру вернулась, и на рогах табличка «Осторожно, окрашено», не наша, не пропадинская, у нас таких не пишут, у нас пишут «Не лезь», это она в Живино ходила, я вам говорю, к родне. — Баба Поля показывала руками размер таблички, гордо.

Когда я вошёл, говорить про козу не перестали. Перестали смотреть.

Смотрели на полки, на весы, на липкую ленту с мухами под потолком — куда угодно, только мимо меня. Не грубо, на полшага шире, — так на меня смотрели в отделе в последнюю неделю, когда про программу знали уже все, кроме меня: вежливо и мимо. Тогда я это понял, только когда увидел торт со словом «Уда». Здесь торта не было, но понял я сразу. От этого было почти смешно. Почти. Баба Нюра сказала мне «здравствуйте» в полку с крупой. Очередь пропустила меня вперёд, хотя я не просил. Никто при этом на меня не взглянул.

Продавщица глаз не подняла, но она их и раньше не поднимала. Буханка серого опять лежала на краю прилавка, в бумаге. Сдачу она дала гематогеном. Глаза держал, как велел Витёк: в лицо, на руки, на товар. Под прилавок не смотрел.

Вечером, когда я вышел к бочке умыться, крыша сарая была чёрная и новая. Рубероид лёг внахлёст, без единой складки, прижатый рейками. Гвозди на рейках стояли в линию. Пахло смолой и спичками. Рубероид был новый, пах магазином, а откуда он — на это из сарая отвечала только гитара.

Банка в углу стояла вверх дном. Капать в неё было нечему.

Витёк приехал утром и поставил мотороллер у калитки, не глуша. Мотор тарахтел на всю Верхнюю.

В коляску я сложился, как в прошлый раз: колени к подбородку, руки деть некуда. Каску Витёк отдал мне ту самую, пятничную, из-под яиц. Внутри она ими и пахла, и немного бензином.

Шесть километров шли бетонкой, потом лесом, потом снова бетонкой. У таблички «Живино» бетонка сразу, по линейке, сменилась асфальтом. Первой показалась колокольня, белая, над липами. Потом люди.

Самым странным оказалось то, что люди в Живине были везде. Женщина с коляской у аптеки. Мальчишка на самокате. Мужик в шлёпанцах мыл из ведра машину с петербургскими номерами. У остановки под стеклом висело расписание. Судя по виду, ему верили. Пахло свежим асфальтом, хлебом и, откуда-то из-за заборов, навозом. За неделю в Пропадине я успел забыть, что так бывает: улица, где идут не по делам, а просто идут.

Витёк сбросил газ и проводил их взглядом, повернув голову так, что мотороллер повело к обочине.

— Собака, Андрюха, гляди, настоящая, и на поводке, и не лает, и хозяйка за ней с пакетиком, как за начальством, у нас-то собак нету, я говорил, у нас только с того берега лают, а тут вон ходит себе, и ничего, и никто на неё не смотрит, кроме меня.

Витёк вертел головой на каждую калитку, на каждую машину и на каждый пакетик. Редко, видно, выбирается из села.

Администрация была двухэтажная, кирпичная, с флагами над входом, пандусом и табличкой «Администрация Живинского сельского поселения». На двери висел лист: приём граждан по вторникам и четвергам. Был понедельник. Дверь, однако, была открыта. В коридоре, прямо напротив входа, висела доска под стеклом: «Лучшее ТОС района — Пропадино».

На доске было моё село. Продавщица за прилавком, глаза в счёты. Баба Поля с белой козой на верёвке. Трое в «адидасе» с граблями на субботнике у клуба — Мелкий на фото жмурился, Толян смотрел в кадр строго, для паспорта. Снимки были все сделаны при ярком солнце, в самый полдень, без единой тени.

— Вы из Пропадина? Из Пропадина, вижу, вижу, — из кабинета в коридор вышел мужчина в пиджаке поверх свитера, в июне, с папкой под мышкой и телефоном, нацеленным туда, откуда лучше свет, — Сухоруков, Геннадий Петрович, глава поселения. День у нас сегодня не приёмный, но раз уж вы приехали, да ещё новый житель, да ещё молодой, из Петербурга, это же прямо в отчёт, это возвращение к земле, лучшие практики. Заходите, заходите.

В кабинете у него стоял флаг, а рядом с флагом, как второе древко, прислонённая к стене, стояла палка для селфи. На подоконнике лежал колбасный набор в целлофане, с бантом, — «к празднику», сказал он, перехватив мой взгляд. На целлофане был нарисован бычок в строительной каске. Телефон на столе зажужжал, на экране высветилось «Каменская Э. Р.». Глава, не глядя, сбросил звонок и перевернул телефон экраном вниз.

— Мне нужна справка, что дом на Верхней, один, жилой и адрес у него есть, для прописки, больше ничего, ни фото, ни отчёта. — Я положил на стол паспорт и копию заявления от нотариуса.

Глава раскрыл папку, но в неё не смотрел. Смотрел он в окно, на мотороллер Витька у крыльца, прикидывая кадр.

— Поймите правильно, Андрей Павлович, мы в рамках программы развития территории. Ваш дом по генплану, по перспективному генплану, попадает в санитарную зону, это не я, это перспектива, я лично к вам со всем уважением. И справку мы, конечно, рассмотрим, но вы же понимаете: выдать справку, что дом жилой, на объект в санитарной зоне, это, как бы сказать, в рамках, но не совсем. — Он отодвинул штору пальцем, чтобы в кабинет пошло больше света.

Я не сел, хотя он показал на стул.

— Санитарную зону чего? У меня сарай, огород, две яблони и малина, которой больше нет. На санитарную зону тут не набирается.

— Перспективного предприятия, партнёра поселения, — глава показал глазами на потолок, — которое, между прочим, восстановило нам храм, вы колокольню видели, и вообще, для района это градообразующее, а у вас, в Пропадине, территория перспективная, самая перспективная, лучшее ТОС.

«Перспективный» — это слово я уже слышал, в среду, от нотариуса, вместе с «о нём уже спрашивали». Я всегда чувствовал, когда мне продают: страховку к кредиту, тариф с роутером в подарок, «последний номер в отеле». Главе продавать было нечего. Он продавал меня кому-то другому и хотел, чтобы я при этом не мешал.

— Генплан ваш утверждён, Геннадий Петрович? — спросил я тише, чем говорил он. Глава это заметил.

— Прорабатывается. В рамках. — Он с облегчением нашёл в папке листок, в который тоже не посмотрел.

— Значит, зоны пока нет, а справку вы мне уже не даёте, — я положил ладонь на паспорт, чтобы он не уехал по столу обратно ко мне. — Дом жилой, я в нём живу неделю, и стоит он там, где стоит, лет сто. Зона ваша на бумаге, которой ещё нет, а справка мне нужна на бумаге, которая есть сегодня. Давайте так: заявление я напишу сейчас, а вы на копии поставите, что приняли. Дальше: либо справка, либо отказ, письменно и с причиной: отказы я, с вашего позволения, собираю. А фотографироваться будем, когда справка будет у меня в руках.

Он не спорил. Он вообще, кажется, не умел спорить: только соглашался и делал по-своему. Бланк он нашёл, ручку тоже, отметку поставил — круглую, с номером, — и развёл над ней руками:

— Вот и отлично, вот и договорились, мы это так и оформим: приём граждан в неприёмный день. Рассмотрим в установленный срок, тридцать дней, это регламент, это не я, это закон, я бы и быстрее, со всей душой, но закон, вы же понимаете.

Тридцать дней — это уже июль. Однушка на Ржевке столько ждать не станет: у Зои Максимовны на неё, судя по тону, очередь.

— Давайте хоть на фото, пока светло, вы не хотите, я уважаю, а вы, молодой человек, пропадинский? Молодёжь поселения, на своём транспорте, на фоне храма, это же прекрасно, это на доску. — Он уже выходил на крыльцо, поднимая телефон и поглядывая на солнце над липами.

Витёк слез с мотороллера и встал рядом с ним по-школьному, для фотографии: руки по швам, кепка козырьком строго вперёд, лицо серьёзное. Глава отошёл к свету, присел, щёлкнул три раза. Витёк не моргнул ни разу.

— Мне ещё в район, надо засветло, и не спрашивайте почему, сам не знаю, привычка. — Глава пожал мне руку, уже садясь в машину.

Утро было в самом разгаре, а темнеть здесь не собиралось до середины июля.

В «Пятёрочке» я взял пачку нормального молотого кофе, не «три в одном» из сельпо. У кассы простоял с ней дольше, чем нужно: давно такого в руках не держал. У входа на лавке сидели две бабки с тележками.

— Пропадинские, гляди, опять все сто процентов проголосовали, все как один, и все долгожители, у них там, говорят, и в девяносто на танцы ходят, — одна сказала это другой на весь магазинный порог и кивнула на нас с Витьком.

— Воздух у них. И вода. Я бы тоже голосовала. — Вторая, как о погоде, кивнула и поправила тележку.

— Пакет нужен? — спросила кассирша у Витька.

— Нужен, а как же, я ж из Пропадина, нам без пакета нельзя, а меня сейчас глава сфотографировал, на доску, на фоне храма, так что вы меня, может, ещё увидите, в коридоре, под стеклом, — Витёк выпрямился и поправил кепку, чтобы кассирша могла сверить.

Кассирша кивнула дежурно и дала пакет.

— Под стеклом, Андрюха, понял, под стеклом, как Толян, как тётя Галя! — кричал Витёк через плечо всю обратную дорогу, на каждой кочке оборачиваясь проверить, слышу ли я. — А она мне сама пакет, я даже не просил, сама, вежливо!.. — На выбоине его подбросило вместе с мотороллером, но продолжил он с того же слова: — Вежливо, и собака эта, может, и не породистая была, а всё равно, на поводке, и никто на неё не смотрел, а на меня смотрели, ты видел, на меня там смотрели как на незнакомого!

Я сидел в коляске, колени к подбородку, прижимал к себе кофе и думал, что в Пропадине его знают все с рождения.

К обеду понадобилась связь. Надёжнее всего она ловилась у колодца, если встать на левую сторону бетонной плиты и поднять телефон над головой: у межи за огородом палка то была, то нет. Бетонная плита была мокрая всегда, даже в сушь. Журавль скрипел над головой.

Телефон, поймав свою палку, вывалил на меня всё накопленное за день: рассылку банка, чат бывшего отдела, где кто-то поздравлял кого-то с чем-то, и напоминание, что гамак будет в пункте выдачи в пятницу. Потом зазвонил номер, которого у меня не было.

— Андрей Павлович? Добрый день, Каменская Эльвира Ринатовна, юридический отдел акционерного общества «Краснобойский мясокомбинат», — голос был гладкий, с улыбкой, которую было слышно даже в трубке, а где-то у неё на столе щёлкала ручка, туда-сюда, — у вас оформление наследства, прописка, компания в курсе, и именно поэтому она хотела бы вам кое-что облегчить.

«Облегчить» в устах юридического отдела звучало стоматологическим «сейчас будет немножко неприятно», так что я промолчал. Молчание её не смутило.

— Вы же кадровик, вы понимаете, что такое оптимизация: иногда имущество выгоднее передать тому, кто может им распорядиться, чем держать самому и нести расходы, компания готова рассмотреть выкуп вашего дома по рыночной цене, с учётом всех обременений, о которых вы, возможно, пока не знаете. Готова, я подчёркиваю. Пока. — Ручка щёлкнула дважды.

В селе об этом знали черти, фельдшер и слух. Теперь, выходит, знал и комбинат. Слух здесь ловил лучше телефона.

— Очень ценю, что компания подумала обо мне в воскресенье… простите, в понедельник, — я перешёл на тот вежливый тон, каким когда-то отвечал банку с незнакомого номера, длинно и ни о чём, — дом достался мне недавно, я в нём ещё не все углы знаю, а «обременения», слово серьёзное, и понимать его мне хотелось бы по-простому: что именно на мне висит и кто это повесил.

— Санитарная зона предприятия, по генплану поселения, в части, касающейся вашего участка, — она ответила сразу, по бумаге, лежавшей, видимо, перед ней открытой, — с главой поселения вопрос согласован… прорабатывается, прошу прощения, решение будет принято в установленном порядке, но компания исходит из того, что оно будет принято.

Про генплан сегодня утром тоже говорили. Там он ещё только «прорабатывался». Здесь он был уже согласован, пока его не поправили.

Потом она назвала сумму. Таких в объявлениях по району не было, даже если сложить мой дом с двумя соседними и с сельпо. Это была уже не студия, это была студия с тем самым балконом. И не осенью, а сейчас.

— Я подумаю. — Сказал и сам услышал, что говорю это не банку.

— Подумайте, компания не торопит, при условии, что думать вы будете в разумный срок, — под последний щелчок ручки голос стал ещё приветливее, — пока.

Она отключилась первая. Я стоял на левой стороне плиты с телефоном над головой и думал про студию: светлую, на девятом этаже, где никто не присматривает за мной из сарая. Думал честно, минуты две. Телефон пискнул ещё раз.

Зоя Максимовна Тихонова, как всегда, писала без «здравствуйте»: «Андрей, в субботу показала. Пара, молодые, с котом. Им всё нравится, даже ваш диван. Так что с пятым? Вещи до пятого заберёте или выставлять?»

Я набрал «продлеваю» и стёр. Набрал «не продлеваю» и тоже стёр. Отправил третье, пока палка не пропала: «Отвечу в среду, когда будет свидетельство».

Ведро на цепи стояло на срубе полное, с водой вровень с краем. Я его не поднимал.

После обеда я красил калитку, потому что злость у меня уходит в руки, а калитка была ближе всего. Зелёную загустевшую краску нашёл в сенях и развёл олифой из прадедовой бутылки с тряпичной пробкой, стоявшей в сенях тут же.

Старичок подошёл так тихо, что я увидел его, когда он уже кланялся. Маленький, в клетчатом пиджаке и кепке, с лицом отчасти японским, отчасти пенсионерским — из тех, что продают мёд у метро. В руках он держал телефон, экраном ко мне, двумя руками, как визитку.

Он поклонился ещё раз, ниже.

— Прошу прощения, что отрываю вас от такой прекрасной работы. Барсуков, Григорий Нилович, ваш сосед, правда, дальний, с Тихого берега, у меня там гостевые дома, два, для отдыхающих, и я, как сосед, не мог не зайти с одним совершенно скромным предложением.

На экране был мой забор. Снятый с улицы, в хорошем свете, с малиной, которой больше нет.

— Прекрасный забор, штакетник, старая работа, таких теперь не делают, и эта недостойная цена, которую я осмелюсь назвать, не цена вовсе, а только уважение к соседу, и если вы купите две секции, то вторая, уверяю вас, уйдёт от вас сама, так что вы, по сути, ничего не теряете. — Барсуков погладил экран пальцем, любовно, от столба до столба.

Он назвал цену. Цена была скромная, если не думать, что это мой забор.

— Григорий Нилович, забор мой, он стоит у моего дома, я его сегодня красил, и покупать его у вас я не буду, ни секцию, ни две, ни оптом, даже если вторая уйдёт сама. — Я показал на него кистью. С кисти капнуло зелёным на траву.

— Совершенно верно, ваш, — он просиял и поклонился, — и именно поэтому я предлагаю его вам, а не кому-нибудь, кто спросит дешевле. Всё, что в селе продаётся, сначала продаётся через меня, так уж здесь заведено, из уважения, и от моего уважения, поверьте, ещё никто не уходил без покупки. Вот, извольте, у меня на берегу три дома рядом с моими купили, так меня не спросили, и вот что вышло: никто не живёт, только камера на столбе смотрит на мои дома, днём и ночью, и мои гости уезжают, не позавтракав. У меня Нина Аркадьевна из Твери девятый год ездит и девятый год хвалит сырники, а в этом году уехала на второй день, не доев, и сказала мне в дверях, что на неё смотрят. Разве это соседи? — Он поклонился и на этот раз задержался в поклоне: обидно, видно, было по-настоящему.

Три дома у Тихого берега, пустые, с камерой на соседей. Это я запомнил отдельно от забора.

Я вытер руку о тряпку и тоже слегка поклонился, раз уж тут так заведено.

— Григорий Нилович, забор мой, и если какая-нибудь секция от меня вдруг уйдёт сама, я пойду её искать. И начну, уж извините, с Тихого берега. А за предложение спасибо, я тронут, что обо мне подумали. Сегодня обо мне вообще много кто подумал.

Барсуков выслушал это с таким удовольствием, будто я хорошо торговался. Поклонился в третий раз, самый низкий, до пояса, — пиджак у него на спине задрался.

Из-под пиджака показался хвост.

Хвост был полосатый, пушистый, с тёмным кончиком. Пиджак закрыл его аккуратно. Смотрел я, как велел Витёк, в лицо — лицо у Барсукова было довольное. Копыто, руки, теперь хвост — и первый, кто пришёл не присматривать, а продавать. Поклонился в ответ и взял кисть. На штакетнике у калитки легла кривая зелёная полоса: кисть у меня, оказывается, дрогнула.

— До свидания, сосед, если передумаете, я всегда на берегу, а цена, уверяю вас, будет только расти, как всё хорошее. — Барсуков пятился к дороге, продолжая кланяться.

Когда он ушёл, я прошёл вдоль забора и потрогал каждую секцию, как трогают в трамвае карман с кошельком. Все были на месте. Пока.

Витёк пришёл вечером, с термосом и пакетом из «Пятёрочки» — берёг, видно, как сувенир. Сели мы за домом, у сарая, на лавке между двух столбов, где к пятнице должен был повиснуть гамак. В одиннадцать было светло, как в пасмурный полдень. Из сарая тянуло спичками и свежей смолой. Там под гитару пели что-то дворовое, на три аккорда, про то, как кого-то ждали и не дождались. Мелкий всё время вступал раньше.

Задрав голову так, что кепка съехала на затылок, Витёк с завистью разглядывал рубероид.

— О, пацаны тебе крышу сделали, ну ты даёшь, Андрюха, они деду сарай третий год обещают, и не сделали, а тебе за день, и это ты как так вообще? И ты им чего дал, и сколько?

— Словом, — я налил себе чаю из его термоса и отпил, пока Витёк не начал подливать, — они сказали, что присматривают, а я попросил присмотреть, чтоб не рухнула. Сами сказали, сами и сделали. В городе я бы за такое спасибо написал, а тут, боюсь, спасибо у них тоже по прейскуранту.

Витёк подумал, кивнул и вместо ответа выдал анекдот дня, всерьёз, с начала:

— Приходит, значит, мужик в администрацию за справкой, а ему говорят: приходите завтра. Он, значит, приходит завтра, с утра, пораньше, чтоб первым, — Витёк погрозил мне крышкой термоса, чай в ней качнулся, — а ему там говорят: так вчера надо было!

Он ждал, глядя на меня сбоку, серьёзно. Я засмеялся, потому что после сегодняшнего это был не анекдот, а инструкция.

— У меня в Живино сегодня было то же самое, только наоборот: справку не дают, потому что санитарная зона, а зоны ещё нет, и приходите через тридцать дней. А потом комбинат позвонил и предложил дом купить. Щедро. Так щедро, что я ведро из колодца так и не поднял.

Сумму я называть не стал. Витёк слушал, болтал сапогом и становился всё серьёзнее.

Витёк налил мне второй раз, хотя я не допил первую.

— Ты с Живино не связывайся, и с этими, с комбината, тоже, они там все одинаковые, а бумагу тебе китайцы сделают, наши, с фермы, у них будка у фермы, и печать у них настоящая, не то что у этих, в Живино, и им тридцать дней не надо, им надо, чтоб по форме. Завтра вторник, они с девяти. Только ты там по форме, Андрюха, по форме, они без формы не разговаривают, я предупредил.

Какие в Пропадине китайцы и откуда у них печать — это были два «почему», а «почему» здесь не говорят. Хватало «где» и «с девяти».

В сарае допели и начали сначала. Витёк уехал поздно, мотороллер было слышно до самого поворота. Я пошёл в дом через крыльцо.

Из щели между дверью и косяком торчал конверт.

Плотный, белый, с окошком. В окошке был мой адрес — Пропадино, Верхняя, один, — напечатанный без единой ошибки, а в углу — логотип: бычок в строительной каске, как на колбасном наборе у главы. Марки не было. Калитки слышно не было, а в сарае всё это время пели. Постучать к ним и спросить, кто приходил, я успел подумать, но Мелкий как раз опять вступил раньше. Стало ясно, за чем они сегодня присматривали. Конверт вскрыл на кухне, под лампой, хотя света хватало и так.

Внутри лежали два листа. На первом был план, как в кадастровой выписке: улица Верхняя, мой участок, сарай, огород до самого кладбища. Всё это было обведено красным, толстым маркером, в два прохода. Поперёк стояла печатная надпись: «Санитарно-защитная зона». Дом на плане был нарисован пунктиром. Так на планах рисуют то, чего уже нет, — или то, чего скоро не будет.

На втором листе был берег: лодочная станция, мостки, песок до самого устья и три коттеджа Тихого берега, закрашенные красным сплошь. Поверх — «Под базу отдыха сотрудников». Внизу стояло «Согласовано», размашистая подпись и круглая печать, точно такая, какую мне сегодня утром поставили на копию заявления.

Я вернулся к первому листу. Внизу, под моим пунктирным домом, была та же графа, «Согласовано». Место для подписи оставлено такое же, с запасом.

Пустое. Пока.

Глава 6. Автобус не доехал

Внизу первого листа, под пустой графой «Согласовано», шли три строки мелким серым шрифтом. С прошлой среды дочитываю всё, что напечатано мельче заголовка: мелкий шрифт мне уже стоил малины и сарая.

«Возражения относительно границ зоны принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с даты получения настоящего уведомления».

Конверт торчал в двери в понедельник, без марки и без почтальона. Тридцать дней — ровно столько же, и тем же словом «регламент», отсчитал мне на справку глава поселения. Два кабинета, две бумаги, а календарь у них, похоже, был один.

Утром на план встал чайник, чтобы лист не сворачивался в трубку, а в кастрюльке сварился кофе — настоящий, из «Пятёрочки». Пунктиром был нарисован дом, а меня на плане не было вовсе: я сидел тут же у чайника сплошной линией и пил кофе.

Сидеть месяц в двух очередях сразу мне не хотелось. «И печать у них настоящая, не то что у этих, в Живино, — наставлял меня вчера Витёк. — Завтра вторник, они с девяти». До девяти было ещё далеко, а с улицы в форточку уже тянуло мелким частым щёлканьем семечек.

Они сидели на моём заборе, у самой калитки, рядком, верхом на перекладине. Толян в середине, лицом к дому. Серый слева, с коробком. Мелкий справа. Шелуха у него летела ко мне в огород, на грядку, где из лебеды торчал чей-то прошлогодний лук. Калитку я красил вчера. Кривая зелёная полоса от дрогнувшей кисти теперь была у Мелкого на штанине.

— Слышь, начальник, утро доброе, чисто по-соседски, — Серый подбросил коробок и поймал, не глядя, — ты не смотри, что мы на заборе. Первое: мы присматриваем, согласно договору. Второе: откуда присматривать, в договоре, извини, ни слова, мы проверяли. А третье: сверху оно виднее, ты сам залезь, попробуй, место есть.

Возразить было нечего: договор я слышал сам.

— Доброе утро, мужики. — С кружкой я встал у крыльца, чтобы видеть всех троих. — Присматривайте, раз договорились, только слезьте с забора на лавку, она у сарая пустая. Шелуха у вас летит мне в огород, забор вчера крашеный, и одни штаны вы себе уже испортили.

Мелкий посмотрел на штанину, потом на меня и обрадовался.

— А спорим, начальник у нас до обеда вежливый, а после обеда всё, ну типа, городские все вежливые, пока у них кофе не кончится, а у него кофе одна пачка, я нюхал, — он спрыгнул было с забора, но только затем, чтобы вытащить из кармана огрызок мела и залезть обратно.

Писал он прямо по свежей краске, на калитке, печатными буквами, высунув кончик языка: «НАЧ. ВЕЖЛ. — М. до обеда». Серый заглянул ему через плечо и дописал ниже: «С. — до вечера». Толян в споре не участвовал и смотрел на дом, на угол у крыльца.

Мелкий взялся отрабатывать свою сам.

— А чего ты в кроссовках по росе, начальник, у нас так одни дачники ходят, а у дачников потом знаешь что, грибок, — он кинул семечку прицельно, мне на верхнюю ступеньку, — а кофе у тебя городской, на всю Верхнюю пахнет, а крышу мы тебе сделали, а спасибо ты не сказал, а малина у тебя вкусная была, кислая только.

Семечка отправилась на перила, а я отпил из кружки.

— Грибка у меня нет, кофе хватит до пятницы, а за крышу спасибо скажу, когда слезете с забора, лавка у сарая по-прежнему свободна.

— Не, ну ты чё, с лавки ж улицу не видно, ну типа, а нам надо улицу, Толян сказал, раз вчера конверт проморгали, пока пели, теперь с забора, чтоб мимо нас ни одна бумажка, а то позор на весь район, у нас такого сроду не было, чтоб к подопечному носили, а мы не видели, — Мелкий сунул руки в карманы и тут же вынул обратно.

Сердиться на такое было трудно, даже с шелухой в луке.

— Тогда спасибо, мужики, всерьёз: за крышу, за забор, за присмотр. Только шелуху в кулак, лук там чей-то прошлогодний, но грядка-то моя.

Серый тут же послюнил палец и стёр на калитке «до обеда».

— Спасибо сказал, Мелкий, при нас, при свидетелях, а спасибо с утра, это вежливо до обеда с запасом, так что должен ты своим же, чисто по-братски. — Под стёртым легла жирная черта.

Толян сплюнул шелуху — в кулак — и заговорил, глядя поверх меня, на угол дома:

— Венец у тебя, начальник, нижний, с угла, подгнил, я ещё с вечера смотрю, а ты про штаны. Значит, так: сидим тут, шелуху в кулак, про венец потом скажешь, и всё.

Про венец спросить я не успел. По Верхней, от изгиба, шёл дед: кепка, пиджак поверх майки, галоши на босу ногу, в авоське одна бутылка, и та полная, — для утра скромно.

— Городской, соли у тебя не найдётся, а то у меня яйцо сварено, а соли нету, а яйцо без соли, это не завтрак, это одна скорлупа, вот Фёдор с Путейской в семьдесят девятом так же пошёл к соседке за солью, а вернулся через три года и с баяном, так что ты мне сыпь в кулёк, я тебе доверяю, — дед остановился у калитки, подтянул носом, сморщился всем лицом и не удержал:

— Апчхи!

Забор опустел. Только что на перекладине сидели трое — и никого, одна шелуха ещё падала в лук. Из лопухов под забором, со стороны улицы, раздалось в три голоса, дружно и с уважением:

— Будьте здоровы, батя!

Дед вытер нос рукавом пиджака и посмотрел на меня.

— Соль-то есть, а?

Соль у меня была, начатая пачка из сельпо. Отсыпал в бумажный кулёк из-под гвоздей. Дед взвесил его на ладони, подмигнул мне, будто соль у нас с ним была общая тайна, и пошёл обратно к изгибу, покачивая авоськой.

Лопухи ещё постояли тихо. Потом из них по одному, пригнувшись, выбрались трое и гуськом ушли через двор к сараю. Мелкий нёс шелуху в кулаке, бережно, не просыпая.

Полчаса их просили слезть — вежливо, с условиями, при свидетелях, — а они сидели. Дед чихнул даже не в их сторону — они слетели. Старших тут, видно, уважают крепче, чем хозяев. Придётся учиться чихать.

На калитке осталось: «НАЧ. ВЕЖЛ.», жирная черта и «С. — до вечера». До вечера было далеко, а к девяти мне надо было к ферме.

Будку у фермы было слышно раньше, чем видно. Трансформатор стоял на двух бетонных столбах, между общагой и коровником, в самом конце Совхозной, в потёках масла. Гудел он низко и натужно. Табличка «Не влезай — убьёт» висела на сетке. Череп на ней был дорисован от руки, с чувством. На столбе, в прозрачных файлах, висели акты о незаконном подключении, подшитые по порядку. Первый, жёлтый до цвета чая, был «№ 1», восемьдесят седьмого года.

Рядом с сеткой стояла кирпичная будка дежурного электрика с окошком. На двери — «Проходная. Приём граждан: пн–пт 9–18, обед 13–14». Пахло маслом, мокрым бетоном и почему-то сургучом.

Очередь сидела на лавке вдоль стены: бабки в платках, с паспортами в полиэтиленовых пакетах, двое маленьких бородатых старичков в тапках на босу ногу, мужик в рабочей куртке с чемоданчиком.

— Ты, Люся, за мной стояла, я тебя видела, за мной, а не за Пашей, потому что Паша за пенсией, а ты за стажем, а стаж, это в окно после обеда, — бабка в клетчатом платке пересчитала очередь пальцем, от себя. Люся поджала губы, готовая спорить до самого обеда.

— За тобой, кто ж спорит, только стаж у меня, милая, подлиннее твоей пенсии, его и после обеда не всякое окно примет, — Люся прижала пакет с паспортом к груди обеими руками.

У двери висел ящик с номерками — красными, из отрывного блокнота, с круглой печатью на каждом. Мне достался семнадцатый, единственный во всём блокноте без печати.

В девять окошко открылось изнутри. Бабка в клетчатом платке первой сунула в него пакет:

— Лао Чжан, миленький, я первая, Люся за мной, а Паша вообще за пенсией, его не считай!

Очередь пошла быстро: бабки выходили довольные, пряча пакеты за пазуху. Минут через десять из окошка позвали:

— Семнадцатый.

За окошком сидел немолодой китаец в белой рубашке с нарукавниками, застёгнутый до последней пуговицы. На столе — табличка «Чжан Леонид Ванович, начальник проходной», стопка бланков и печать в кожаном футляре. На стене за его спиной висел стенд «Образец заполнения».

Номерок он перевернул, поискал печать и на обороте и вернул мне обеими руками, бережно.

— Без печати вы не пришли, заявитель, вы только пытаетесь прийти, а это, по форме, совершенно другое действие, оно тоже бывает, но записывается иначе и дальше окошка не идёт.

— Давайте так: номерок я взял из вашего ящика, другого там не было, и печати на нём нет не по моей вине, — номерок лёг обратно на подоконник, лицом вверх. — Поставьте на него печать, и я приду как положено, по форме, а пытаться дальше мне некогда, у меня тридцать дней на две бумаги.

Лао Чжан посмотрел на номерок, потом на меня, с интересом. Потом привстал со стула, торжественно, открыл футляр, подышал на печать, приложил к номерку и сел.

— Вот теперь вы пришли, номер семнадцатый, с печатью, здравствуйте. По какому вопросу?

— Мне нужна справка, что дом на Верхней, один, жилой и адрес у него есть, для прописки, и нужна она мне раньше, чем через тридцать дней.

На слове «справка» он коротко поморщился.

— Справки у нас нет, справку выдают в Живино, в другом окне, где вам её не выдали, а у нас выписка из похозяйственной книги, по форме, с печатью, и говорит она то же самое, что справка, только её дают.

Про Живино я ему не рассказывал.

Бланк приехал ко мне в окошко вместе с ручкой на бечёвке. Бумагу из Живина, с отметкой о приёме, Лао Чжан взял и погладил отметку пальцем, как гладят кота.

— Отказ тоже документ, прекрасный документ, лучше многих. Приложите.

Бланк вернулся: «прописка» по форме звалась «регистрация по месту жительства», а месяц писался словом. В отделе кадров я сам возвращал людям такие бланки и помнил, какое у них при этом делалось лицо. Теперь это лицо было у меня. Угадывать я бросил и пошёл к стенду.

Образец на стенде был заполнен лучше любого бланка, какой мне встречался в жизни: подпись не касалась линии ни одним хвостом. Переписал с него всё, что относилось ко мне, не добавив от себя ни одной запятой. Бабка в клетчатом платке, так и не ушедшая с лавки, одобрительно кивнула мне из-за плеча: «С образца, миленький, с образца. Он его сам писал, у него образец как икона».

Третий бланк Лао Чжан читал долго, графу за графой, водя по строкам колпачком ручки. Потом снял нарукавник и сказал почти нежно:

— Вот, видите, заявитель, графа к графе, приложение к приложению, теперь вы существуете.

Из-под стола появилась книга, толстая, прошитая суровой ниткой. Он нашёл страницу, вписал что-то, придерживая лист ладонью, снова привстал и приложил печать к выписке.

«Пропадино, ул. Верхняя, д. 1. Жилой дом». Печать круглая, по кругу — иероглифы, а в середине — герб Живинского поселения, с колоском. Глава поселения, выходит, отказал мне своим же гербом, только в другом окне.

— Спасибо, Леонид Ванович.

— Вы прочитали табличку, заявитель, это редкость, — он был доволен. — Отчество я вписал себе сам: графа была, а пустая графа по форме, брак. Следующий.

В Живине мне дали тридцать дней. Здесь всё заняло меньше, чем у главы — фотография.

В среду утром на остановке я был не первым. На скамейке под мозаикой сидел парень в тельняшке и вязаной жилетке, с картонной коробкой на коленях. Коробка время от времени говорила «ко».

На жилетке висели пуговицы — разные, десятка два, пришитые где попало. Лицо у парня было тёмное, почти чёрное, а выговор пропадинский, с растяжкой, — это я понял с первого слова.

— Доброе утро, вы, значит, городской, с Верхней, мне про вас тётя Роза говорила, а я Иван, Иван Михайлович Бахталов, с Совхозной, приёмный, — он переложил коробку на одно колено и протянул мне освободившуюся руку. — Вы не смотрите, что с петухом, петух для солидности, в райцентре без петуха меня никто всерьёз не примет.

Рука у него была сухая и крепкая.

— Андрей Павлович, с Верхней, городской, всё верно, я за пропиской, у меня выписка с печатью, и хочу успеть в МФЦ раньше, чем туда соберётся весь район. А вы в райцентр по делу?

Иван сел прямее, насколько позволяла коробка. Из нагрудного кармана жилетки он достал билет — автобусный, бумажный, в целлофановом пакетике, заклеенном скотчем со всех сторон.

— В пятый раз еду. Первый раз я вышел в шесть, или без пяти, это петух знает, сел, билет у Валерия Степановича купил, вот этот, он действительный, на нём даты нет, я узнавал, и на выезде у ПАЗа колесо. Отец потом сказал: в понедельник надо было, золотой, в понедельник дорога лёгкая. А тётя Роза сказала: в понедельник нельзя, яхонтовый, у меня в понедельник карты не ложатся, в четверг надо.

Коробка сказала «ко». Иван постучал по ней ногтем, петух затих.

— Второй раз в четверг: петух не пустил. Сел в дверях коробки, крыльями вот так, и я его туда, а он меня обратно, пока мы разбирались, ПАЗ ушёл, — Иван развёл руки, показывая крылья. Коробка поехала у него с колена; я её придержал. — Мерси. Третий раз я его не тем боком держал, головой к селу, а надо к району, это я потом в брошюре нашёл, там картинка.

— А четвёртый? — Коробку я так и держал с краю, на всякий случай.

— Четвёртый раз всё правильно было, петух к району, четверг, — Иван загнул четвёртый палец и посмотрел на него строго, — а отец с тётей Розой с утра опять заспорили, среда или пятница, и спорили до двадцати минут восьмого, а ПАЗ в пятнадцать, а я ж не могу уйти, пока старшие не договорили, это неуважение. А сегодня среда. Отец сказал: среда, и тётя Роза сказала: среда, первый раз за год оба одно сказали, и петух к району, и вышел я в шесть. Или без пяти.

Он убрал билет обратно в карман и застегнул клапан на пуговицу, одну из двадцати.

— А в райцентре вам куда, если не секрет?

— В книжный, за разговорником, французским, у меня старый, до сорок второй страницы, а дальше вырвано, — Иван погладил коробку, — а с ними ж только по-французски, а у меня дальше «коман сава» слов нет, неудобно перед ними.

Кто такие «они», Иван не пояснил. Петух в коробке переступил с ноги на ногу.

— А вы, говорят, с работы… ушли, — это он сказал осторожно, вполголоса, глядя на свою коробку.

— Меня заменили. Программой, нейросетью, если по-модному. Она теперь делает то, что делал я, и в отпуск не просится. — Сказал я это легче, чем ожидал. За месяц научился.

— Порча на нейросеть, это не ко мне, это к дяде Михаю, он с Совхозной, дом с зелёной крышей, скажете, что от Ивана, у него на прогресс скидка, а делать потом всё равно буду я, но договариваться к нему, у нас по порядку, — Иван подумал и прибавил серьёзно, для вежливости: — Бонжур.

Пустой ПАЗ пришёл и встал у павильона, не глуша мотор. Рисунок «ДЕДУЛЕ» так и висел под скотчем, выгоревший. Иван показал Валерию Степановичу билет в целлофане. Тот кивнул билету, как старому знакомому.

— Пятый, Ваня? Пятый. Садись, пятый, — Валерий Степанович развернулся ко мне всем корпусом, пока я отсчитывал мелочь. — А тебе, значит, к восьми в МФЦ, в восемь откроют, в восемь, а я на кольце без четверти, минута в минуту, так что успеешь, если по дороге не выскочишь.

Иван сел у окна и повернул коробку дыркой вперёд, в сторону района. ПАЗ обошёл круг и покатился вниз, к въезду, мимо указателя «Пропадино». У самого указателя мотор кашлянул, дёрнул автобус раз, другой и замолчал.

Валерий Степанович повернул ключ. Мотор не ответил.

— Семь шестнадцать, — он постучал по часам на внутренней стороне запястья, — шестнадцать, а он встал, он у меня на выезде ни разу не вставал, ни разу, на въезде вставал, на кольце вставал, а на выезде за семь лет ни разу!

— Я посмотрю, Валерий Степанович, я в моторах немножко понимаю, отец показывал, — Иван уже поднимался, прижимая коробку к животу. — Петуха не оставлю, он без меня нервничает.

Дверь с шипением открылась. Иван сошёл на обочину. Обе его ноги едва встали на асфальт, как мотор чихнул и завёлся с первого раза.

— Завёлся! Семь восемнадцать, восемнадцать, я и так тут две минуты стою! — Дверь зашипела обратно.

Держась за поручень, я привстал:

— Подождите, человек вышел, он сейчас сядет, ему только коробку поднять, минута, не больше, по вашим же часам.

— Человек в другой раз, у него всегда другой раз, а у меня расписание, без четверти на кольце, минута в минуту, — Валерий Степанович уже отпускал сцепление. ПАЗ пошёл.

В заднее стекло было видно, как Иван стоит у указателя с коробкой под мышкой и машет нам обеими руками сразу. В одной руке блестел целлофан.

— В другой раз! — донеслось до нас сквозь мотор, весело, без обиды.

Пятый раз. Дальше указателя он, значит, не бывал. Старые моторы глохнут и заводятся сами, это бывает, но у этого мотора выходило как-то очень уж против Ивана. Смотрел я назад, пока поворот не закрыл обочину и целлофан.

На повороте, где не было никакой остановки, Валерий Степанович притормозил сам, без просьбы. Клавдия Петровна, в том же сером плаще, с тем же пустым ящиком из-под яблок, поднялась в автобус и опять села рядом со мной.

— Опять, что ли, Ванька на обочине машет, я из окна видела, ну, значит, среда, — она поправила платок и наклонилась ко мне доверительно, — а стаканчик-то мой прижился, сынок,

у крыльца, а я ему каждое утро: ну что, Коля, у кого рука не та? — а он молчит, а помидор прёт, так что пусть теперь сам и говорит, чья рука.

На кольцо с бронзовым быком ПАЗ пришёл без четверти восемь, минута в минуту.

От автостанции главная улица шла мимо аптеки и ломбарда, а между ними — салон. Вывеска у него, розовая, неоновая, горела и днём: «Шпилька». Одна буква мигала. В витрине стояло золотое кресло с бархатом, пустое, а на двери — «Запись на месяц вперёд».

МФЦ «Мои документы» занимал первый этаж бывшего Дома быта. К восьми у дверей уже стояли бабки с папками и мать с коляской. К терминалу все пошли не толкаясь, но быстро.

Терминал выдал мне талон с буквой «В». На табло над шестью окнами горели одни «А» и «Б», а буквы «В» не было вовсе, как будто мою ещё не завезли. Кондиционер дул в затылок, куда бы ты ни сел. Женщина у окна вязала что-то длинное и серое, начатое, судя по длине, ещё в прошлую очередь.

Табло не торопилось. Телефон пискнул: Зоя Максимовна писала, как всегда, без «здравствуйте»: «Андрей, среда. Что со свидетельством? Пара с котом звонит каждый день. Что с пятым?»

Про свидетельство телефон знал одно: «передано курьеру». Вчера он знал то же самое. Написал «продлеваю» — и стёр. Отправил правду: «Свидетельство у курьера. Про квартиру отвечу до пятого».

Пока табло не двигалось, мысли ушли в ФАП, на повторный приём — «вечером, когда все разойдутся». Думал об этом дольше, чем стоило.

Через дорогу, в окно было видно, стоял кофейный ларёк с настоящей кофемашиной. Табло, по всем признакам, могло без меня обойтись.

Кофе в ларьке варили крепкий, в бумажном стаканчике с крышкой. У кассы, вместо жвачки, стояла открытая коробка «Иванушки». Сбоку на ней мелко, под картузом: «Сила — в железе».

Когда я вернулся, табло уже ушло дальше моего номера. Прошёл он, пока я выбирал крышку. Девушка у терминала вздохнула над моим талоном и сама нажала за меня кнопку.

— Ваш вызывали дважды, так что теперь с начала, а кофе у нас в зале, между прочим, нельзя.

Новый талон был той же буквы, но много дальше. Хороший был кофе, но не настолько.

К своему стулу я шёл мимо второго ряда. Там, с краю, сидела женщина в тёмной рабочей куртке поверх спецовки, в резиновых сапогах, коротко стриженная, крупная, плечистая. Сидела она прямо, не касаясь спинки. На нагрудном кармане куртки был вышит бычок в строительной каске. Он уже смотрел на меня с колбасного набора у главы и с конверта, теперь — с её кармана.

Когда я поравнялся с ней, она повернула голову и потянула носом воздух — открыто, как нюхают молоко из холодильника, свежее ли.

— Кофе, из ларька, а под кофе: печь, мел, спички, сарай, дом старый, бугор, — она потянула ещё раз уже поверх моего плеча и кивнула сама себе. — Ты с Верхней, пропадинский. Ты мой. Садись.

Раз уж велели, я сел рядом и показал ей талон.

— Спасибо, только я вроде как… ничей, я по талону, а свой номер я только что прокараулил у ларька, так что сидеть мне теперь до обеда минимум.

Она посмотрела на мой талон, на табло и на мой кофе, по очереди.

— С ночной я, с обвалки, смена в семь кончилась, я сюда, за отца, отец по окнам не ходит, бригадир он, — она кивнула на зал, где полсотни человек сидели тихо, руки на коленях. — Гляди, сидят. У нас скотина перед убоем тоже тихая. Будто знает.

На табло дзынькнуло: её номер, четвёртое окно.

Она встала, вынула у меня из пальцев талон, вложила свой, взяла меня за локоть — не больно, но так, что спорить было некуда, — и повела к четвёртому окну, мимо всего ряда. Зал смотрел на табло, на свои колени, на кондиционер — куда угодно, только не на неё.

Меня пропускали вперёд второй раз за неделю. В сельпо — чтобы на меня не смотреть. Здесь меня вела за локоть женщина, на которую не смотрели сами. Это было неловко и, честно говоря, приятно.

— Валька. Бирюкова. Сиди, — сказала она мне в затылок, когда я уже садился на стул перед окном. Встала у меня за спиной.

В четвёртом окне сидела молодая женщина с бейджиком «Окошкина Оксана Игоревна» и с длинной прозрачной линейкой в руке. Номер был Валькин, человек на стуле — я, и вопросов у неё к этому не нашлось.

— Сейчас вы мне дадите паспорт, заявление и что у вас там ещё есть, потом вы подпишете вот здесь и вот здесь, потом вы пойдёте домой и будете ждать, — Оксана Игоревна протянула линейку в окно, плоской стороной ко мне. Документы поехали к ней на линейке, не касаясь рук.

Выписку из похозяйственной книги она подняла против лампы, на просвет. Увидела круг иероглифов с колоском посередине. Клавиатура под её пальцами пошла вдвое быстрее.

— Пропадинская, так бы сразу, с этой печатью у нас полрайона пенсию получает, и ни одного возврата, ни одного, а свидетельство где? Сейчас вы мне скажете, что оно едет.

— Почти угадали: свидетельство у курьера. Нотариус отправила его в пункт выдачи у нас в сельпо, и оно второй день «передано курьеру», — я показал ей телефон, раз уж он был в руке. — Едет оно или стоит, тут не пишут.

— Значит, подгрузим, как придёт, у пропадинских так всегда: сначала всё, потом бумага. — Линейкой она подвинула мне заявление. Я расписался там и там, где она показала её кончиком. — Паспорт оставляете.

— Как оставляю? — Паспорт уже лежал по её сторону окна, на линейке. — А я с чем поеду?

— Вы поедете домой и будете ждать, а паспорт с отметкой поедет следом, вместе со свидетельством, в сельпо, не беспокойтесь, у нас так всё Пропадино прописано.

Паспорт мне ещё никогда не доставляли. Тем более в сельпо и, судя по срокам, в один день с гамаком.

Оксана Игоревна положила линейку, взяла штамп, стукнула им по подушечке и приложила к заявлению с такой силой, что вздрогнули стёкла её окошка.

— К пятнице придёт в ваш пункт выдачи, и будете местный.

За спиной у меня Валька втянула носом воздух — ещё раз, напоследок, запоминая.

— Местный, это хорошо, местных не едят, — она положила мне на плечо тяжёлую, пахнущую хлоркой ладонь и тут же убрала, — а до пятницы ты не местный, так что до пятницы смотри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.